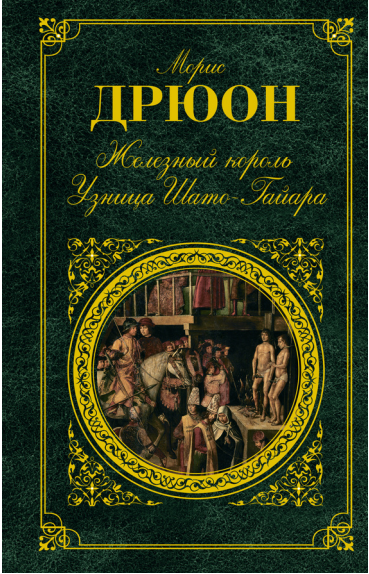




Морис Дрюон
Железный король. Узница
Шато-Гайара (сборник)
Серия «Проклятые короли»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11657369

*Железный король. Узница Шато-Гайара : романы / Морис Дрюон: Эксмо, Домино; Москва, ; 2012
ISBN 978-5-699-56635-8*

Аннотация

В трагическую годину История возносит на гребень великих людей; но сами трагедии – дело рук посредственностей.

В начале XIV века Филипп IV, король, прославившийся своей редкостной красотой, был неограниченным повелителем Франции. Его прозвали Железный король. Он смирил воинственный пыл властительных баронов, покорил восставших фламандцев, победил Англию в Аквитании, провел успешную борьбу с папством, закончившуюся так называемым Авиньонским пленением пап.

Только одна сила осмелилась противостоять Филиппу – орден тамплиеров.

Слишком независимое положение тамплиеров беспокоило короля, а их неисчислимы богатства возбуждали его алчность. Он затеял против них судебный процесс. И не было такой низости, к которой не прибегли бы судьи на этом процессе.

Но можно ли считать, что лишь последствия этого несправедливого судилища ввергли Францию в пучину бедствий?

Содержание

Железный король	4
Пролог	5
Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	15
Глава III	23
Глава IV	31
Глава V	35
Глава VI	40
Глава VII	47
Глава VIII	51
Глава IX	55
Часть вторая	60
Глава I	60
Глава II	67
Глава III	72
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Железный король

Maurice Druon

LES ROIS MAUDITS: LE ROI DE FER

© 1955 by Maurice Druon

LES ROIS MAUDITS: LE REINE ETRANGLEE

© 1955 by Maurice Druon

© Жаркова Н., перевод на русский язык, наследники, 2012

© Ефимов Л., перевод комментариев на русский язык, 2012

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012

* * *

История – это роман, бывший в действительности...
Эд. и Ж. Гонкуры

Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Кристиану Гремийону, Мадлен Мариньяк, Жильберу Сиго, Жозе-Андре Лакуру за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этим томом; хочу также поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.
М. Д.

Пролог

В начале XIV века Филипп IV, король, прославившийся своей редкостной красотой, был неограниченным повелителем Франции. Он смирил воинственный пыл властительных баронов, покорил восставших фламандцев, победил Англию в Аквитании, повел успешную борьбу даже с папством, закончившуюся так называемым Авиньонским пленением пап. Парламенты были в его распоряжении, а соборы – на его содержании.

У Филиппа было три совершеннолетних сына, так что он мог рассчитывать на продолжение рода. Свою дочь он выдал за короля Англии Эдуарда II. Среди своих вассалов он числил шесть иностранных королей, а союзы, заключенные им, связывали его со многими государствами, вплоть до России.

Он прибирал к рукам любые капиталы и состояния. Постепенно он обложил налогом церковную казну и земли, обобрал евреев, нанес удар по объединению ломбардских банкиров. Чтобы удовлетворять нужды казны, он прибегал к выпуску фальшивых денег. День ото дня золотые монеты становились все легче весом и стоили все дороже. Ужасающе тяжелым было бремя налогов; королевские соглядатаи буквально наводнили страну. Экономические кризисы вели к разорению и голоду, что, в свою очередь, вело к возмущениям, которые король топил в крови. Бунты кончались длинной вереницей виселиц. Все и вся должны были покоряться, гнуть спину или разбивать себе лоб о твердыню королевской власти.

Этот невозмутимый и жестокий владыка вынашивал мысль о национальном величии Франции. При его правлении Франция была великой державой, а французы – несчастнейшими из людей.

Только одна сила осмелилась поднять голову – орден тамплиеров. Эта разветвленная организация, военная, религиозная и финансовая в одно и то же время, прославилась и разбогатела в период крестовых походов.

Слишком независимое положение тамплиеров беспокоило Филиппа Красивого, а их неисчислимые богатства возбуждали его алчность. Он затеял против них судебный процесс. Второго такого судилища не знала история, ибо по ходу дела было привлечено около пятнадцати тысяч обвиняемых. Нет такой низости, к которой не прибегли бы судьи на этом процессе, длившемся целых семь лет.

Наше повествование начинается с последнего, седьмого года.

Часть первая Проклятие

Глава I Королева, не знающая любви

В камине на ложе из раскаленных углей пылала целая сосна. Сквозь зеленоватые стекла в свинцовых переплетах просачивался скупой мартовский свет.

На высоком дубовом кресле, спинку которого украшали три резных льва – символ английского могущества, – сидела королева Изабелла, супруга Эдуарда II; подперев подбородок ладонью, опустив ноги на пурпурную подушку, она рассеянно глядела в камин, не замечая веселой игры огня. Двадцатидвухлетняя королева славилась удивительной белизной и нежностью кожи; золотистые ее волосы были заплетены в две косы и уложены над висками наподобие ручек греческой амфоры.

Придворная дама, привезенная из Франции, читала вслух королеве поэму герцога Гийома Аквитанского:

Не помяну любви добром,
Я не нашел ее ни в ком,
Мне некого воспеть стихом...

Певучий голос придворной дамы терялся под сводами залы, слишком просторной, чтобы женщина могла здесь чувствовать себя счастливой.

В изгнанье удаляюсь я,
Беда и горе ждут меня...

Королева, не знающая любви, вздохнула.

– Сколь прекрасны слова эти, – произнесла она, – можно подумать, что они писаны для меня. Увы! Прошли те времена, когда знатные сеньоры, вроде этого герцога Гийома, умели так же хорошо сражаться, как слагать стихи. Когда, вы сказали, он жил? Два века тому назад! А словно вчера только написано.

И она вполголоса повторила:

Не помяну любви добром,
Я не нашел ее ни в ком...

Она задумалась.

– Прикажете продолжать, ваше величество? – осведомилась чтица, придерживая пальцем страницу с картинкой.

– Нет, милочка, не надо, – ответила королева. – Моя душа уже достаточно наплакалась сегодня...

Она поднялась и совсем другим тоном произнесла:

– Мой кузен Робер Артуа известил меня о своем прибытии. Позаботьтесь о том, чтобы, как только он приедет, его немедленно провели ко мне.

– Он едет из Франции? Как вы, должно быть, рады, ваше величество!

– Хотела бы радоваться, но только привезет ли он нам радостные вести?

Дверь распахнулась, и на пороге появилась вторая придворная дама, – тоже француженка, – она запыхалась и придерживала мешавшую бежать юбку кончиками пальцев. В девичестве Жанна де Жуанвилль, она вышла замуж за сэра Роджера Мортимера.

– Ваше величество, ваше величество! – закричала она. – Он начал говорить.

– Неужели заговорил? – спросила королева. – И что же он сказал?

– Ударил по столу и сказал: «Хочу».

Гордая улыбка осветила прекрасное лицо Изабеллы.

– Приведите его ко мне, – приказала она.

Леди Мортимер все так же поспешно выпорхнула из залы; вскоре она появилась в дверях, неся на руках пухлого, розового, толстенького младенца в возрасте пятнадцати месяцев, и поставила его у ног королевы. На нем было платьице гранатового цвета, все расшитое золотом, слишком тяжелое для такого малыша.

– Значит, мессир мой сын, вы сказали «хочу»? – произнесла Изабелла, нагнувшись и потрепав мальчика по щечке. – Я рада, что вы произнесли первым именно это слово: истинно королевская речь.

Ребенок улыбнулся матери и потерял головенкой о ее руку.

– А почему он так сказал? – спросила королева.

– Потому что я не дала ему кусочек пирога, который мы ели, – ответила леди Мортимер.

По лицу Изабеллы пробежала улыбка.

– Раз он начал говорить, – сказала она, – я требую, чтобы с ним не сюсюкали, не лопотали бессмысленно, как обычно с дитятей. Не так-то важно, чтобы он умел говорить «папа» и «мама». Я предпочитаю, чтобы он поскорее выучил слова «король» и «королева».

В ее голосе звучала прирожденная спокойная властность.

– Вы сами знаете, милочка, – продолжала Изабелла, – в силу каких причин я выбрала именно вас воспитательницей моего сына. Вы внучатая племянница славного Жуанвилля, который совершал крестовые походы вместе с моим прадедом королем Людовиком Святым. Вы лучше прочих сможете внушить этому дитяти, что он принадлежит Франции столько же, сколько и Англии.

Леди Мортимер склонилась в глубоком реверансе. В это мгновение первая французская придворная дама объявила о прибытии его светлости графа Робера Артуа.

Королева выпрямилась в кресле, скрестила на груди свои белоснежные руки, желая придать себе особо царственный вид, но даже эта поза идола не могла скрыть ее сияющей молодости.

Паркетный пол залы затрясся, заходил под тяжестью двухсот шагающих фунтов.

Вошедший имел шесть футов росту, ляжки у него были обхватом не меньше дубового ствола, руки – как палицы. На голенищах сапог красной испанской кожи виднелась засохшая грязь; плащ, накинутый на плечи, был так широк, что мог бы вполне заменить одеяло. Даже с одним кинжалом у пояса он казался в полном воинском облачении. В его присутствии все и вся вокруг сразу становилось слабым, непрочным, хрупким. Подбородок у него был круглый, нос короткий, тяжелая челюсть, могучая грудная клетка. И воздуха ему требовалось больше, чем прочим людям. Этому гиганту шел двадцать восьмой год, но его неестественная массивность прибавляла ему лет, так что на вид ему казалось все тридцать пять.

Ставив перчатки, он подошел к королеве, с легкостью, неожиданной в таком колоссе, преклонил перед ней одно колено и тут же поднялся, не дожидаясь разрешения встать.

– Ну как, мессир мой кузен, – спросила Изабелла, – благополучно ли вы совершили плавание?

– Отвратительно, мадам, чудовищно, – ответил Робер Артуа. – Буря поднялась такая, что я чуть было не отдал богу душу вместе с потрохами. Я уж думал, что настал мой послед-

ний час, и решил исповедоваться перед господом богом в своих грехах. По счастью, их оказалось так много, что я не успел перебрать и половины, как показалась земля. Остальные я приберег для обратного пути.

От громовых раскатов его смеха в окнах задрожали стекла.

– Да, черт возьми, – продолжал он, – видно, я создан для того, чтобы колесить по земле, а не для того, чтобы барахтаться в соленой водичке. И если бы не любовь к вам, кузина, если бы не необходимость сообщить вам важнейшие известия...

– Разрешите, кузен, я покончу раньше с моими делами, – прервала его Изабелла. И, повернувшись к гостю, она кивнула на мальчика. – Мой сын начал сегодня говорить.

Потом обратилась к леди Мортимер:

– Мне угодно, чтобы он заучил имена своей родни и чтобы он как можно раньше узнал, что дед его, Филипп Красивый, – король Франции. Читайте ему с сегодняшнего дня вслух «Отче наш» и «Богородицу», а также молитву Людовику Святому. Слова эти должны запасть ему в сердце раньше, чем он поймет их разумом.

Изабелла была рада случаю показать своему французскому родственнику, потомку одного из братьев Людовика Святого, свои заботы о воспитании сына и направление этих забот.

– Какое прекрасное воспитание получит благодаря вам этот молодой человек! – воскликнул Робер Артуа.

– Учиться царствовать начинают с младенчества, – ответила Изабелла.

Не подозревая, что эти слова относятся к нему, мальчуган с удовольствием заковылял по зале, озабоченно переступая ножками и спотыкаясь, как дети простых смертных.

– Трудно представить себе, что мы тоже когда-то были такими! – заметил Робер Артуа.

– Особенно трудно представить это, глядя на вас, кузен, – подхватила с улыбкой королева.

На мгновение она задумалась, стараясь вообразить себе чувства той женщины, что выносила под сердцем эту человеческую глыбу, и свое собственное чувство к сыну, когда он станет взрослым мужчиной...

Протянув ручонки, словно намереваясь схватить пламя своими крохотными пальчиками, мальчик направился к камину. Робер Артуа преградил ему путь, выставив вперед свой красный сапог. Ничуть не испугавшись, наследный принц обхватил эту ножищу ручонками, которые так и не сошлись вокруг нее, и уселся верхом на гигантскую ступню. Робер раза три-четыре подкинул его вверх. Наследный принц хохотал в восторге от этой забавы.

– Ах, мессир Эдуард, – сказал Робер Артуа, – осмелюсь ли я впоследствии, когда вы станете могущественным владыкой, напомнить вам, что некогда качал вас на своем сапоге?

– Как раз вы и сможете напомнить ему об этом, – ответила Изабелла, – если вы навсегда останетесь нашим искренним другом... А теперь покиньте нас, – обратилась она к окружающим.

Обе француженки вышли, уводя ребенка, которому суждено было в один прекрасный день стать королем Англии Эдуардом III, если будет на то воля Провидения.

Робер Артуа молча ждал, пока захлопнется дверь.

– Ну так вот, мадам, – сказал он, – дабы увенчать то прекрасное воспитание, которое вы даете своему сыну, сообщите ему, пожалуйста, на будущем уроке, что Маргарита Бургундская, королева Наваррская, будущая королева Франции и тоже внучка Людовика Святого, скоро будет известна в народе под кличкой Маргарита Распутница.

– В самом деле? – спросила Изабелла. – Следовательно, наши подозрения оправдались?

– Да, кузина. И не только в отношении одной Маргариты. Но и в отношении двух других ваших невесток.

– Как? Жанны и Бланки?

– Насчет Бланки бесспорно. А вот Жанна...

Робер Артуа нерешительно повел своей огромной ручищей.

– Просто она более ловка, чем те две, – добавил он, – но я имею все основания полагать, что и она тоже отпетая развратница.

Он подошел ближе к трону, расставил для прочности ноги и бросил:

– Ваши три брата, мадам, рогаты – рогаты, как последние простак!

Королева поднялась. Ее бледные щеки окрасил румянец.

– Если то, что вы говорите, правда, я этого не потерплю, – произнесла она. – Не потерплю подобного позора, не потерплю, чтобы моя семья стала всеобщим посмешищем.

– Французские бароны тоже не намерены этого терпеть, – ответил Артуа.

– Есть у вас доказательства? Назовите имена!

Робер Артуа с шумом выдохнул воздух.

– Когда вы прошлым летом вместе с вашим супругом посетили Францию, чтобы участвовать в празднествах, во время которых я имел честь наравне с вашими братьями быть посвященным в рыцари – ибо вы знаете, что на бесплатные почести у нас не скупятся, – заметил он ядовито, – так вот, в то время я поделился с вами своими подозрениями, а вы сообщили мне о ваших. Вы приказали мне быть начеку и обо всем извещать вас. Я ваш союзник; первый ваш приказ я исполнил и явился сюда, дабы исполнить второй.

– Итак, что же вы узнали? – нетерпеливо спросила Изабелла.

– Прежде всего то, что некие драгоценности исчезли из ларца вашей благородной, вашей добродетельной, вашей кроткой невестки Маргариты. А когда женщина тайком сбывает свои драгоценности, ясно, что она желает одарить любовника или купить себе сообщников. Это бесспорная истина, не так ли?

– Но ведь она может сослаться на то, что жертвует свои бриллианты церкви.

– Ну, не всегда. А что, если брошь, например, была дана ломбардскому купцу в обмен на дамаский кинжал?..

– А вы узнали, на чьем поясе висит этот кинжал?

– Увы, нет, – вздохнул Артуа. – Искал, но сбился со следа. Развратницы слишком ловки, как я уже имел честь вам докладывать. Ни один олень в моем лесу в Конше не мог бы лучше запутать следы и сбить с толку охотника, чем эти дамы.

Изабелла сделала разочарованную гримаску. Робер Артуа предупредил слова, готовые сорваться с ее губ, предостерегающе подняв руку.

– Подождите, подождите, – воскликнул он. – Это еще не все. Честная, чистая, целомудренная Маргарита велела привести в порядок покои в старой Нельской башне, дабы, как она уверяет, творить там в одиночестве молитвы. Только почему-то молитвы творятся именно в те ночи, когда ваш брат Людовик находится в отлучке. А свет горит там за полночь. Ваша невестка Бланка, а иногда и ваша невестка Жанна тоже приходят туда помолиться. Хитрые бабенки! Если вы, скажем, спросите одну из них о ее времяпрепровождении, она вам ответит: «Как? Вы меня подозреваете? Но ведь я была с кузиной!» Одна согрешившая женщина – это слабенький редут. Но три спевшиеся бесстыдницы – это уже неприступная крепость. Только вот в чем дело: в те самые дни, когда Людовик отсутствует, в те самые вечера, когда в окнах Нельской башни горит свет, в этих обычно пустынных местах, на берегу у подножия башни, начинается движение. Люди видели, что оттуда выходили мужчины отнюдь не в монашеском одеянии и не с пением псалмов на устах, ибо не в ту дверь они метят. Двор безмолвствует, но в народе пошли толки, ибо, пока хозяин еще молчит, слуга уже распускает язык.

В пылу разговора Робер взволнованно размахивал руками, шагал по зале, под ногой его стонали доски, и полы плаща со свистом рассекали воздух. Одним из самых неопровержимых доказательств Робер Артуа считал игру своих крепких мускулов. Он старался убедить противника не словами, а выставляя напоказ свою физическую мощь; словно смерч, налетал он на опешившего собеседника; а грубость речей, так хорошо вязавшаяся со всем его обликом, казалось, говорила о полном прямодушии. Однако тот, кто дал бы себе труд поближе приглядеться к Роберу Артуа, невольно усомнился бы; уж не комедия ли все это, не ловкость ли фокусника? Ненависть, все замечающая, упорная ненависть горела в серых глазах гиганта; и молодая королева тоже только усилием воли сохраняла прежнее хладнокровие.

– Вы говорили об этом моем отцу? – спросила она.

– Дорогая моя кузина, вы же лучше меня знаете короля Филиппа. Он так верит в женскую добродетель, что согласится меня выслушать не раньше, чем я покажу ему ваших невесток в объятиях любовников. А с тех пор, как моя тяжба проиграна, я не в особенной чести при дворе...

– Знаю, кузен, что с вами обошлись несправедливо, и, будь моя воля, причиненный вам ущерб был бы возмещен.

Робер Артуа бросился к королеве, схватил ее руку и прильнул к ней долгим благодарным поцелуем.

– Но как раз в связи с вашей тяжбой, – вполголоса спросила королева, – не станут ли говорить, что вы действуете из соображений мести?

Гигант подскочил:

– Конечно, мадам, я действую из мести.

Нет, действительно, этот великан Робер мог обезоружить любого! Хочешь заманить его в ловушку, поставить в тупик, а он вдруг распаивает перед вами, как окно, всю свою душу.

– У меня отняли мое наследственное графство Артуа, – закричал он, – и отдали его моей тетушке Маго Бургундской... этой суке, прощелыге, чтоб она сдохла, чтоб ей проказа все лицо разъезла, чтоб у нее все нутро сгнило! А чем она добилась успеха? Только хитростью, интригами да еще тем, что сумела вовремя позолотить ручку советников вашего батюшки. Потому-то ей и удалось женить ваших братьев на двух своих распутных дочках и своей столь же распутной кузине.

Увлечшись, он изобразил королеве воображаемый диалог между своей теткой Маго, графиней Бургундии и Артуа, и королем Филиппом Красивым.

– «Дорогой мой сеньор, мой родич, мой кум, а что, если вы выдадите мою любимую крошку Жанну за вашего сына Людовика? Как, он не хочет? Считает, что она слишком худа?... Ну что ж! Дайте ему в жены Маргариту... Филиппу – Жанну, а вашему чудесному Карлу мою душечку Бланку. Как же мы будем радоваться их любви! И потом, если мне уступят Артуа, которым владел мой покойный брат, графство Бургундское отойдет нашим птенчикам. Ах, мой племянник Робер? Да выкиньте наконец этому псу какую-нибудь кость! Пусть получает замок Конш в графстве Бомон, этой деревенщине за глаза хватит». И давай нашептывать разные подлости нашему Ногарэ, сулить золотые горы Мариньи, и вот выдает замуж одну, выдает замуж вторую, выдает замуж третью. И когда дело сделано, наши крошки шлюхи начинают сговариваться, слать друг другу письма, добывать себе любовников и из сил выбиваться, лишь бы украсить рогами корону Франции... Ах, будь поведение их, мадам, безупречным, я бы еще как-то сумел обуздать свою досаду. Но дочки графини Бургундской узнают, с кем имеют дело, не беспокойтесь, я вымешу на них все то зло, что причинила мне тетушка, тем паче что и ведут они себя недостойно и изрядно насолили мне.

Изабелла задумчиво внимала этой словесной буре.

Артуа приблизился к королеве и произнес вполголоса:

– Они вас ненавидят.

– Надо сказать, что и я со своей стороны с самого начала недолюбливала их без всякой на то причины, – ответила Изабелла.

– Вы не любите их потому, что они лгуны, потому, что думают только о наслаждениях и забывают о своем долге. Но они-то, они ненавидят вас потому, что завидуют вам.

– Однако ж судьба моя не слишком завидна, – вздохнула Изабелла, – их положение кажется мне куда приятнее, чем мое.

– Вы королева, мадам, – королева по духу и по крови. Пусть ваши невестки носят корону, королевами они никогда не будут. Вот поэтому-то они относятся и будут относиться к вам столь враждебно.

Изабелла вскинула на кузена свои прекрасные голубые глаза, и Артуа понял, что сумел коснуться чувствительной струнки. Отныне Изабелла целиком была на его стороне.

– Известны вам имена... ну... тех людей, с которыми мои невестки... – спросила она.

В отличие от своего родича Артуа Изабелла не любила прибегать к сильным выражениям, и иные слова просто не шли с ее губ.

– Не знаете? – допытывалась она. – Но без этого я не в состоянии что-либо предпринять. Узнайте, и клянусь вам, я немедленно под любым предлогом прибуду в Париж и положу конец всем этим безобразиям. Иначе как и чем я смогу помочь? Сообщили ли вы о ваших подозрениях моему дяде Валуа?

Изабелла снова говорила решительно, властно, твердо.

– Признаться, я воздержался от разговоров с его высочеством графом Валуа. Хотя он мой покровитель и лучший мой друг, но ведь он прямая противоположность вашему батюшке. Он разнесет повсюду то, что предпочтительно держать в тайне, он до срока спугнет дичь, и, когда распутницы попадутся в западню, они окажутся святее монашек...

– Что же в таком случае предлагаете вы?

– По-моему, надо избрать двойную тактику. Во-первых, приставить к мадам Маргарите новую придворную даму, которая будет блюсти наши интересы и давать нам нужные сведения. Для этой роли рекомендую мадам де Комменж, она недавно овдовела, и ей охотно пойдут навстречу. Вот тут-то нам и может пригодиться ваш дядя Валуа. Напишите ему письмо, в котором вы выразите свое желание устроить судьбу несчастной вдовы. Его высочество граф Валуа имеет огромное влияние на вашего брата Людовика, и может статься, что он, желая лишний раз показать свою власть, незамедлительно введет мадам де Комменж в Нельский отель. Таким образом, в самом сердце крепости мы будем иметь своего лазутчика, а недаром у нас, людей военных, говорится: шпион в стенах крепости стоит целой армии у крепостных стен.

– Хорошо, я напишу письмо, и вы его отвезете, – сказала Изабелла.

– Во-вторых, надо усыпить подозрения ваших невесток на ваш счет, а для этого следует приласкать их, ну скажем, отправить им какие-нибудь подарки подороже, – продолжал Артуа. – Притом такие, что одинаково подходили бы и мужчинам и дамам; отправьте их тайком от всех, не предупреждая ни отца, ни братьев, под предлогом маленькой дружеской тайны. Маргарита уже опустошила свой ларец ради прекрасного незнакомца; если удача нам улыбнется, мы наверняка обнаружим нашу драгоценность на вышеупомянутом кавалере – неужели Маргарита не пожелает одарить его, тем более что происхождение подарка останется в тайне. Дадим же им великолепный повод совершить неосторожный поступок.

С минуту королева сидела в раздумье, потом приблизилась к двери и хлопнула в ладоши.

Вошла первая французская дама.

– Вот что, милочка, – обратилась к ней Изабелла, – соблаговолите принести поскорее золотой кошель для милостыни, знаете, тот, что предлагал мне сегодня утром купец Альбици.

Пока придворная дама ходила за кошельем, Робер Артуа, забыв на время свои заботы и козни, огляделся вокруг – стены высокой залы были покрыты фресками на библейские сюжеты, резной дубовый потолок имел форму шатра. Все было ново, грустно, от всего веяло холодом. Мебель прекрасной работы терялась в огромных покоях.

– Да, место не из веселых, – сказал он, окончив осмотр. – Больше похоже на собор, чем на дворец.

– Благодарение богу, что не на тюрьму, – вполголоса ответила Изабелла. – Если бы вы знали, как временами я тоскую о Франции.

Робера поразили не так слова королевы, как тон, которым они были произнесены. Он вдруг понял, что существуют две Изабеллы: одна – молодая государыня, сознающая свое высокое положение и даже несколько нарочито подчеркивающая свое величие, а за этой маской – страдающая женщина.

Французская дама принесла подбитый шелком кошель, сплетенный из золотых нитей; застежкой ему служили три драгоценных камня, каждый величиной с ноготь большого пальца.

– Чудесно! – воскликнул Артуа. – Как раз то, что нам надо. Для дамского обихода, правда, чуточку громоздко, но зато кто из наших придворных щеголей не мечтает прицепить к поясу такой кошель, чтобы блеснуть в свете...

– Закажите два таких же кошелья купцу Альбици, – приказала Изабелла придворной даме, – и велите сделать их немедленно.

Когда придворная дама вышла, Изабелла обратилась к Роберу Артуа:

– Вы доставите их во Францию.

– Никто не узнает, что подарки привез я, – ответил Робер.

Снаружи раздались крики и смех. Робер Артуа подошел к окну. Во дворе артель каменщиков поднимала вверх, к своду строящегося здания, каменную плиту, украшенную рельефным изображением английских львов. Половина рабочих тянула веревки на блоках, остальные, взобравшись на леса, готовились принять плиту. Дело шло споро и весело.

– Как видно, король Эдуард по-прежнему любит каменно-строительные работы.

Среди рабочих он узнал короля Эдуарда II, супруга Изабеллы, красивого широкоплечего и широкобедрого мужчину лет тридцати, с волнистыми густыми волосами. Его бархатный камзол был забрызган известью.

– Вот уже пятнадцать лет, как начали перестраивать Вестминстер! – гневно воскликнула Изабелла (слово «Вестминстер» она произносила на французский манер: «Вестмостье»). – Шесть лет прошло со дня моей свадьбы, и все шесть лет я живу среди лопат и корыт с известью. Построят одно, а через месяц уже ломают. И не воображайте, что король любит каменные работы – он любит каменщиков! Вы думаете, они говорят ему «сир»? Они зовут его просто Эдуард, шутят над ним, а он от всего этого в восторге. Да посмотрите сами!

Эдуард II отдавал приказания, обнимая за шею молоденького рабочего. Во дворе царила какая-то двусмысленная фамильярность. Каменных английских львов снова опустили на землю, очевидно не найдя для них подходящего места.

– Я думала, что хуже, чем при рыцаре Гавестоне, уже быть не может. Этот наглый и хвастливый беарнец так ловко управлял моим супругом, что, в сущности, управлял самим королевством. Эдуард подарил ему все мои драгоценности из свадебного ларца. Очевидно, в нашей семье уж так повелось, что драгоценности, принадлежащие женщинам, тем или иным способом перекочевывают к мужчинам!

Наконец-то Изабелла могла излить близкому человеку, родственнику, свою душу, поведавать о своих горестях и унижениях. Нравы Эдуарда II были известны во всей Европе.

– В прошлом году баронам и мне удалось свалить Гавестона: ему отрубили голову, тело четвертовали и выставили напоказ в четырех главных городах королевства, – удовлетворенно улыбаясь, закончила Изабелла.

Выражение жестокости, омрачившее это прекрасное лицо, отнюдь не смутило Робера Артуа. Надо сказать, что подобные явления были в те времена делом самым обычным. Нередко бразды правления вручались подростку, которого могущество власти увлекало, как занятная игра. Еще вчера он забавы ради отрывал крылышки у мух, а сегодня мог забавы ради отрубить голову у человека. Такой слишком юный властелин не боялся, да и просто не представлял себе смерти и поэтому не колеблясь сеял ее вокруг себя.

Изабелла взошла на престол в шестнадцатилетнем возрасте; за шесть лет она весьма преуспела в ремесле государей.

– И представьте, кузен, – продолжала она, – я иногда даже с сожалением вспоминаю о рыцаре Гавестоне. Ибо с тех пор Эдуард, желая мне отомстить, собирает во дворце все самое низкое, самое грязное, что только есть в стране. Он посещает лондонские портовые притоны, бражничает с бродягами, бьется на кулачках с грузчиками, соперничает с конюхами в их искусстве. Нечего сказать, достойные короля турниры! А тем временем государством управляет первый встречный, лишь бы он умел развлечь Эдуарда и сам принимал участие в его развлечениях. Сейчас эту роль играют бароны Диспенсеры, отец ничуть не лучше сына, который состоит при моем супруге в качестве наложницы. А мной Эдуард пренебрегает вовсе, если же нас сводит случай, меня охватывает такой стыд, что я вся леденею.

Она потупила голову.

– Королева, если ее не любит муж, самая несчастная среди всех своих подданных. От нее требуют лишь одно – обеспечить продолжение царствующего дома, а до чувств ее никому нет дела. Да разве любая женщина, жена барона, горожанина, крестьянина, наконец, разве согласились бы они терпеть такие мучения, какие терплю я... лишь потому, что я королева? Да последняя английская прачка имеет больше прав, чем я: она может прийти ко мне просить о заступничестве...

Робер Артуа прекрасно знал – да и кто этого не знал! – что Изабелла несчастна в браке, но до сих пор он не представлял себе ни всей глубины драмы, ни страданий молодой королевы.

– Кузина, моя прекрасная кузина, я буду вашим заступником! – пылко воскликнул он.

Изабелла печально пожала плечами, как бы говоря: «Чем же вы можете мне помочь!» Их лица почти соприкасались. Робер протянул руки, привлек ее к себе со всей нежностью, на какую только был способен, и прошептал:

– Изабелла...

Положив руки на плечи гиганта, она ответила полупшепотом:

– Робер...

Они не отрываясь смотрели друг другу в глаза, и обоих охватило неожиданное волнение. Роберу показалось, что в голосе Изабеллы прозвучал тайный зов. Он вдруг почувствовал какое-то странное смятение, его сковывала, смущала собственная сила, и он боялся надеть неловкостей.

Вблизи голубые глаза Изабеллы под полукружьем каштановых бровей казались еще прекраснее, еще бархатистей казалась кожа, еще соблазнительнее похожие на пушистый персик щеки. Меж ее полуоткрытых губ белели ослепительные зубы.

Внезапно Робера охватило желание посвятить свою жизнь, свои дни, свое тело и душу этим губам, этим глазам, этой хрупкой королеве, которая сейчас вдруг стала такой, какой была на самом деле, – юной девой; его влекло к ней, но он не умел выразить это страстное и неукротимое влечение. Знатные женщины были не в его вкусе, и не в его натуре было разыгрывать из себя галантного кавалера.

– Почему я так с вами разоткровенничалась? – сказала Изабелла.

Они по-прежнему не отрываясь глядели друг другу в глаза.

– За то, чем пренебрегает король, не видя в том совершенства, другие бы мужчины денно и нощно благословляли небеса, – произнес Артуа. – Как вам, в ваши годы, вам, красавице, блещущей свежестью, – вам лишиться естественных радостей? Неужели эти губы не узнают вкуса поцелуев? А эти руки... это тело... О, найдите себе избранника, и пусть ваш выбор падет на меня.

Бесспорно, Робер слишком уж прямо шел к цели, да и речь его совсем не напоминала поэтические вздохи герцога Гийома Аквитанского. Но Изабелла почти не слышала его слов. Робер подавлял ее, нависал над ней как глыба; от него пахло лесом, кожей, конским потом и чуть-чуть железом от долгого ношения доспехов; ни голосом, ни повадками он не напоминал завязанного покорителя женских сердец, и, однако, она была покорена. Перед ней был мужчина, настоящий мужчина, грубый и необузданный, с трудом переводивший дыхание. Воля покинула Изабеллу, и ей хотелось только одного: припасть головой к этой груди, широкой, как у буйвола, забыться, утолить мучительную жажду... Она затрепетала.

Потом вдруг выпрямилась.

– Нет, Робер, не надо! – воскликнула она. – Я не сделаю того, в чем первая упрекаю своих невесток. Я не могу, не должна. Но когда я подумаю о своей участи, о том, чего я лишена, тогда как им посчастливилось иметь любящих мужей... О нет! Их должно и покарать, покарать сурово!

При мысли, что ей самой заказан грех, Изабелла втройне возненавидела своих грешных невесток. Она отошла и села на высокое дубовое кресло. Робер Артуа последовал за ней.

– Нет, нет, Робер, – повторила она, предостерегающе подняв руку. – Не пользуйтесь моей минутной слабостью, я вам этого никогда не прощу.

Совершенная красота внушает такое же уважение, как и величие. Гигант молча отступил.

Но тому, что произошло, – этим минутам не суждено никогда изгладиться из их памяти. На какое-то мгновение между ними перестали существовать всякие преграды. Они с трудом отвели друг от друга глаза. «Значит, и я могу быть любима», – подумала Изабелла, и в душе она почувствовала признательность к человеку, давшему ей эту блаженную уверенность.

– Итак, кузен, это все, что вы мне хотели сообщить, или у вас есть еще новости? – спросила она, с усилием овладевая собой.

Робер Артуа, который, в свою очередь, размышлял о том, правильно ли он сделал, отступив так быстро, ответил не сразу.

Он шумно перевел дыхание и произнес таким голосом, словно очнулся от долгого сна:

– Да, мадам, у меня есть к вам поручение от вашего дяди Валуа.

Какие-то новые таинственные узы связали их отныне, и каждое произнесенное слово приобретало теперь иное значение.

– Вскоре будет суд над старейшинами тамплиеров, – продолжал Артуа, – и есть все основания опасаться, что ваш восприемник от купели Великий магистр ордена Жак де Молэ будет предан смерти. Ваш дядя Валуа просит вас написать королю и молить о помиловании.

Изабелла ничего не ответила. Она уселась, как и прежде, подперев ладошкой подбородок.

– Как вы на него похожи! – воскликнул Артуа.

– На кого похожа?

– На короля Филиппа, вашего батюшку.

– То, что решил король, мой отец, то решено окончательно, – медленно произнесла Изабелла. – Я могу вмешиваться в дела, затрагивающие честь нашей семьи, но я не намерена вмешиваться в государственные дела Франции.

– Жак де Молэ – глубокий старец. Он был благороден, был велик. Ежели он совершал ошибки, он уже искупил их сторицей. Вспомните, что он ваш крестный отец. Поверьте мне, готовится большое злодеяние, и снова его затевают Ногарэ и Мариньи! Нанося удар по тамплиерам, хотят нанести в их лице удар по всему рыцарству, по всему высокому сословию. И кто же? Безродные, ничтожные люди.

Изабелла молчала в нерешительности, дело было слишком важное, дабы она осмелилась вмешаться в него.

– Я не могу судить о таких вещах, – сказала она, – нет, не могу судить.

– Вы знаете, что я в долгу перед вашим дядей Валуа, и он будет мне крайне признателен, если я получу от вас письмо. К тому же сострадание к лицу королеве; жалость – прирожденная добродетель женщины, и добродетель, достойная всяческих похвал. Кое-кто упрекает вас в жестокосердии – вступившись за безвинных, вы дадите клеветникам блистательный отпор. Сделайте это ради себя, Изабелла, а также и ради меня.

Имя ее, Изабелла, он произнес тем же тоном, каким произнес его, когда они стояли у окна.

Королева улыбнулась.

– Вы, Робер, искусный дипломат. Кто бы мог подумать, ведь с виду вы настоящий дикарь. Хорошо, я напишу письмо, которое вам так хочется получить, и вы сможете доставить его вместе со всем прочим. Я даже попытаюсь добиться письма от английского короля к королю французскому. Когда вы уезжаете?

– Когда прикажете, кузина.

– Думаю, кошелек будет готов завтра: значит, скоро.

В голосе королевы прозвучало огорчение. Робер взглянул ей в глаза, и она снова смутилась.

– Я буду ждать от вас гонца, который сообщит, следует ли мне отправляться во Францию. Прощайте, месье. Увидимся за ужином.

Робер вышел, и зала вдруг показалась королеве удивительно тихой, как долина после промчавшегося над ней урагана. Изабелла прикрыла глаза и с минуту сидела не шевелясь.

«Этого человека, – думала она, – озлобили вечные несправедливости. Но на любовь он способен ответить любовью».

Люди, призванные сыграть важную роль в истории народов, по большей части не знают, каких событий станут они орудием. И эти двое, беседовавшие на закате мартовского дня 1314 года в Вестминстерском дворце, не могли себе даже представить, что в силу стечения обстоятельств, в силу собственных действий они дадут толчок войне между королевствами Франции и Англии, – войне, которая будет длиться более ста лет.

Глава II

Узники Тампля

На стенах от сырости проступали темные пятна. Туманный желтоватый свет робко пробивался в сводчатое подземелье.

Узник спал, скрестив руки под длинной бородой. Вдруг он задрожал всем телом, вскочил с бешено бьющимся сердцем и растерянно оглянулся вокруг. С минуту он стоял неподвижно, не спуская глаз с оконца, к которому прильнула утренняя дымка. Он прислушался. Непомерно толстые стены поглощали все звуки, однако ж он отчетливо различал перезвон парижских колоколов, возвещавших заутреню: вот зазвонили на колокольне Сен-Мартэн, потом Сен-Мэрри, Сен-Жермен л'Оксеруа, Сент-Эташ и на колокольне собора Парижской Богоматери; им вторили колоколенки предместных деревень – Куртиля, Клиньянкура и Мон-мартра.

Ни одного подозрительного звука, который оправдывал бы внезапный испуг узника. Он вскочил с ложа, гонимый смертельной тоской, которая сопровождала каждое его пробуждение, подобно тому как сон неизменно приносил кошмары.

Он потянулся к большой деревянной лохани и жадно отхлебнул глоток воды, чтобы утишить ту лихорадку, что терзала его дни и ночи. Напившись, он подождал, пока взбаламученная поверхность воды уляжется, и нагнулся над лоханью, как над зеркалом или над зевом колодца. Темная гладь воды отразила лицо столетнего старца. Узник не отрывал от нее взора, надеясь обнаружить в этом нечетком, расплывчатом изображении свой прежний облик, но вода отражала лишь длинную патриаршую бороду, ввалившийся рот, бледные губы, облепившие беззубые челюсти, тонкий, иссохший нос, желтые провалы глазниц.

Он отодвинул лохань, поднялся и сделал несколько шагов, пока цепь, приковывавшая его к стене, не потянула его обратно. Тогда он вдруг завопил:

– Жак де Молэ! Жак де Молэ! Я – Жак де Молэ!

Никто не отозвался на этот вопль. Никто и ничто. Узник знал, что не ответит даже эхо.

Но ему надо было во что бы то ни стало выкрикивать время от времени свое собственное имя, бросать его этим каменным столбам, сводам, дубовой двери, дабы удержать свой разум на пороге безумия, дабы напомнить себе самому, что ему семьдесят два года, что он командовал армиями, правил провинциями, достиг власти, равной королевской, и что до тех пор, пока в нем еще тлеет огонек жизни, он даже здесь, в этом узилище, есть и будет Великим магистром ордена рыцарей-тамплиеров.

В довершение жестокости или для вящего издевательства Жака де Молэ и его главных сподвижников заключили в низких залах башни отеля Тамплъ, превращенной ныне в темницу, заточили в собственном их жилище, в их главной штаб-квартире.

– И подумать только, что я сам велел отстроить заново эту башню! – гневно пробормотал Великий магистр, ударив кулаком по стене.

Но тут же он с криком отдернул руку, так как от удара воскресла жестокая боль в правой кисти – раздробленный большой палец представлял собой бесформенный кусок неживающего мяса. Да есть ли в его теле хоть одно место, не превратившееся в рану, не ставшее вместилищем боли? Кровь застаивалась в старческих, набрякших венах, и после пытки «испанским сапогом» он страдал от жесточайших судорог в икрах. Его ноги пропустили тогда между двух досок, и всякий раз, когда «пытошники» постукивали по доскам деревянным молотком, в мясо врезались дубовые шипы, а Гийом де Ногарэ, хранитель печати, задавал ему вопросы и требовал признания. Какого признания? Молэ лишился чувств.

Это истерзанное, изломанное тело доконали грязь, сырость, скудная пища.

А недавно он подвергся самой страшной из всех применявшихся к нему дотоле пыток – его пытали на дыбе. К правой ноге привязали груз в сто восемьдесят фунтов и с помощью веревки, перекинутой через блок, вздернули его, старика, к потолку. Снова и снова звучал злобный голос Гийома де Ногарэ: «Признайтесь же, мессир...» И так как Молэ упорно отрицал всякую вину, его бесчисленное число раз подтягивали к потолку, и с каждым разом все быстрее, все резче. Ему показалось, что кости его выходят из суставов, мышцы рвутся, тело, не выдержав напряжения, распадается на части, и он завопил, что признается, да, признается в любых преступлениях, во всех преступлениях мира. Да, тамплиеры предавались содомскому греху; да, для вступления в орден требовалось плюнуть на Святое распятие; да, они поклонялись идолу с кошачьей головой; да, они занимались магией, колдовством, чтили дьявола; да, они растратили доверенные им сокровища; да, они замыслили заговор против папы и короля... В чем он бишь признался еще?

Жак де Молэ с удивлением думал о том, как он смог пережить все это. Несомненно, лишь потому, что истязатели действовали с расчетом, и пытки никогда не доходили до того предела, за которым должна была последовать смерть, и еще потому, что организм преста-

релого рыцаря, закаленного в боях и походах, оказался куда более живучим, чем сам он мог предположить.

Узник упал на колени, обратив взор к бледному лучу, пробивавшемуся сквозь оконце.

– Господи, владыко живота моего, – произнес он, – почему ты наделил большею силой плоть мою, нежели дух мой? Был ли я достоин управлять орденом? Ты допустил меня до малодушества; не дай же мне, господи, впасть в безумие. Дольше терпеть нет у меня силы.

Целых семь лет сидел он на цепи; только для допросов выводили его из узилища, а сколько натерпелся он от судей и теологов, от их угроз и принуждений. Неудивительно, что он боялся утратить рассудок. Нередко Великий магистр терял счет дням. Желая хоть как-то скрасить свое существование, он пытался приручить двух крыс, являвшихся каждую ночь, чтобы попировать черствой коркой хлеба. От слез он переходил к гневу, от приступов пламенной веры к необузданным богохульствам, от оцепенения к бешенству.

– Пусть они сдохнут... пусть сдохнут... – твердил он.

Кто? Климент, Гийом, Филипп... Папа, хранитель печати и король. Они умрут. Молэ не знал, какая им уготована кончина, но твердо верил, что их ждут неслыханно страшные страдания во искупление свершенных ими злодейств. И он без устали твердил эти три ненавистных имени.

Не подымаясь с колен, задрав бороду к светлому пятну оконца, Великий магистр бормотал:

– Благодарю тебя, господи, что ты не отнял от меня ненависти. Только силой ненависти я еще держусь на этой земле.

С трудом приподнявшись с колен, он добрел до каменной скамьи, высеченной в стене и служившей ему одновременно и ложем, и единственным сиденьем.

Разве мог он когда-либо даже вообразить, что дойдет до такого унижения? Мыслью он беспрестанно уносился ко дням детства, ко дням юности, к тому, что было пятьдесят лет назад, когда он спустился с отрогов родных Юрских гор в поисках великих приключений.

В ту пору все младшие отпрыски знатных родов мечтали поскорее надеть длинный белый плащ с черным крестом – традиционное облачение рыцарей-тамплиеров. Уже от самого слова «тамплиер» веяло духом дальних странствий и подвигов, оно вызывало в воображении корабли, идущие на Восток с гордо раздутыми парусами, страны, где вечно сини небеса, коней, мчащих всадников в атаку через пески пустыни, все сокровища Аравии, богатый выкуп за пленников, отбитые у врага города, отданные на поток и разграбление, крепости, к которым от морского берега ведут гигантские лестницы. Говорили даже, что у тамплиеров есть свои тайные гавани, откуда они отплывают в неведомые земли...

И свершилась мечта Жака де Молэ: одетый в роскошный плащ, складки которого ниспадали до золотых шпор, он горделиво шагал по далеким городам...

Он достиг высших ступеней иерархии ордена, таких, которых никогда и не надеялся достичь, получил все титулы и наконец по выбору братьев тамплиеров занял высший пост Великого магистра Франции и заморских стран, имел под своим началом пятнадцать тысяч рыцарей.

И все кончилось этим склепом, этой грязью, этими лишениями. Редко на чью долю выпадала такая неслыханная удача и на смену ей приходило столь глубокое унижение.

Звенем цепи Жак де Молэ стал чертить на сырой стене какие-то линии, долженствующие изображать план крепости, как вдруг в коридоре, ведущем в его темницу, послышались тяжелые шаги и звон оружия.

Снова тоска сжала его сердце, но на сей раз он знал, откуда она, почему овладела им.

Массивная дверь заскрипела, открылась, и за спиной тюремщика Молэ увидел четырех лучников в коротких кожаных камзолах и с пиками в руке. В нетопленном коридоре от их дыхания поднималось легкое облачко пара.

– Мы за вами, мессир, – сказал командир отряда лучников.

Молэ молча поднялся со скамьи.

Тюремщик подошел к нему и несколькими сильными ударами молотка и зубила отбил заклепку, приковывавшую цепь к железным кольцам весом в четыре фунта, обхватывавшим щиколотки узника.

На иссохшие плечи Молэ накинуд широкий плащ, свой знаменитый плащ, превратившийся в жалкую вылинявшую тряпку; украшавший его черный крест висел лохмотьями.

Затем он тронулся в путь. В осанке этого немощного старца, который, шатаясь, с трудом переступая закованными в железо ногами, подымался по лестнице башни, еще чувствовался военачальник, отбивший в последний раз Иерусалим у неверных.

«Господи, дай мне силы, – шептал он про себя, – дай мне хоть немного силы». И чтобы вернуть себе эту желанную силу, он твердил имена трех заклятых своих врагов: Климент, Гийом, Филипп...

Обширный двор Тампля окутывал туман, он лениво цеплялся за башенки крепостной стены, струился сквозь бойницы, скрывая своей белесой пеленой колокольню соседней церкви...

Сотня лучников с пиками в руках окружала большую открытую четырехугольную повозку; они вполголоса переговаривались.

А там, за стенами, шумел Париж; временами гул человеческих голосов прорезало пронзительно грустное конское ржание.

Посреди двора медленно расхаживал мессир Алэн де Парейль, капитан королевских лучников, тот, кто самолично присутствовал при всех казнях, тот, кто сопровождал всех заключенных в судилище и на пытки; его невозмутимо спокойное лицо не выражало ничего, кроме скуки. Алэну де Парейлю было под сорок, короткие, преждевременно поседевшие волосы спадали прядями на его квадратный лоб. На нем была кольчуга, на боку висел меч, шлем он держал на сгибе локтя.

Услышав шаги Великого магистра, Алэн оглянулся, а старик, заметив его, почувствовал, что бледнеет, если только могло побледнеть это мертвенно-бледное лицо.

Обычные допросы не обставлялись так торжественно: в этих случаях обходились и без повозки, и без вооруженных стражников. Несколько королевских приставов являлись за обвиняемыми и переправляли их на лодке на другой берег Сены, чаще всего в сумерки. Присутствие Алэна де Парейля говорило о многом.

– Итак, приговор вынесен? – спросил Молэ капитана лучников.

– Да, мессир.

– А вы не знаете, сын мой, – спросил Молэ после минутного колебания, – что значит в приговоре?

– Не знаю, мессир. Я получил приказ доставить вас в собор Парижской Богоматери, где будет оглашено решение суда.

Воцарилось молчание, которое нарушил Жак де Молэ:

– А какой сегодня день?

– Первый понедельник после дня святого Григория.

Это соответствовало 18 марта – 18 марта 1314 года.

«Везут нас на смерть?» – думал Молэ.

Дверь башни вновь отворилась, и под конвоем стражников появились трое сановников ордена: генеральный досмотрщик, приор Нормандии и командор Аквитании.

Седовласые, как и Молэ, с такими же, как у него, всклоченными белыми бородами, в таких же лохмотьях, прикрывавших такие же хилые тела, трое сановников ордена неподвижно стояли посреди двора, растерянно хлопая веками в провалившихся орбитах, похожие на огромных ночных птиц, ослепленных дневным светом. В довершение сходства

левый глаз командора Аквитании затянуло бельмом, и старик действительно напоминал филина. Вид у него был совсем безумный. У генерального досмотрщика – лысого старика – от водянки чудовищно распухли ноги и руки.

Первым пришел в себя приор Нормандии Жоффруа де Шарнэ: путаясь в цепях, он бросился к Великому магистру и обнял его. Долгая дружба связывала этих людей. Жак де Молэ покровительствовал Шарнэ, который был моложе его на десять лет, и видел в нем своего преемника.

Поперек лба Шарнэ шел глубокий рубец, давний след схватки, во время которой ударом меча ему рассекло лоб и повредило нос. Мужественный старец уткнулся изуродованным войной лицом в плечо Великого магистра, чтобы скрыть слезы.

– Мужайся, брат мой, мужайся, – сказал Великий магистр, сжимая его в объятиях. – Мужайтесь, братья мои, – повторил он, обнимая по очереди двух остальных своих сотоварищей.

Каждый при виде другого мог судить о своем собственном состоянии.

К узникам приблизился тюремщик.

– Вас могут расковать, мессеры, – сказал он.

Великий магистр поднял руки усталым и покорным жестом.

– У меня нет ни одного денье, – ответил он.

Ибо при каждом выходе из тюрьмы тамплиеры, для того чтобы с них сняли или на них надели цепи – на тюремном языке расковали или заковали, – должны были отдать один денье из тех двенадцати, что отпускала им казна для уплаты за скудную, несъедобную пищу, за солому для ложа и за стирку белья. Еще одна насмешка, еще одно проявление жестокости со стороны Ногарэ... Ведь тамплиеры находились под следствием, им еще не вынесли обвинительного приговора. Они имели право на бесплатное содержание. Двенадцать денье, когда кусок мяса стоил все сорок! Другими словами, четыре дня в неделю они сидели вовсе без пищи, спали на голых камнях и гнили в грязи.

Приор Нормандии вынул из старого кожаного кошелька, висевшего у пояса, два последних денье и швырнул монеты на землю – один денье за расковку его самого, один за Великого магистра.

– Брат мой! – протестуяще воскликнул Жак де Молэ.

– На что мне они теперь? – ответил Шарнэ. – Не отказывайтесь, брат мой, тут даже никакой моей заслуги нет.

Каждый удар молотка, разбивавшего их цепи, болью отдавался в старых костях. Но еще сильнее болело сердце, куда, казалось, прихлынула вся кровь.

– На сей раз нам конец, – пробормотал Молэ.

Он думал о том, какой смерти их предадут и суждено ли им испытать еще неизведанные пытки.

– Но нас ведь расковали, кто знает, может быть, это и добрый знак, – возразил генеральный досмотрщик, разминая вспухшие от водянки руки. – А вдруг папа решил нас помиловать?

Во рту у него осталось только два передних зуба, и при разговоре он пришепetyвал; от долгого пребывания в темнице разум его помутился – старик впадал в детство.

Великий магистр пожал плечами и молча указал на лучников, выстроившихся вокруг повозки.

– Приготовимся к смерти, братья мои, – сказал он.

– Вы только посмотрите, что они со мной сделали, – воскликнул досмотрщик. Он засучил рукав, обнажив изуродованную руку.

– Всех нас пытали, – ответил Великий магистр.

Каждый раз, когда при нем заговаривали о пытках, он в смущении опускал глаза. Ведь он не выдержал, дал ложные показания и не мог простить себе своей слабости.

Он не отрывал глаз от огромной крепости, которая была когда-то его гнездовьем, символом его могущества.

«В последний раз», – подумалось ему.

В последний раз глядел он на эту каменную громаду, на ее башенку, церковь, в последний раз обнимал взглядом ее дворцы, дома, дворы и сады – настоящая крепость в самом сердце Парижа.

Здесь в течение двух веков жили, творили молитвы и суд тамплиеры, здесь находили они ночлег, здесь обсуждали планы дальних походов, здесь, в этой башенке, хранилась казна Французского государства, вверенная их попечению и их власти.

Сюда после неудачных крестовых походов Людовика Святого, после падения Палестины и Кипра возвращались они в сопровождении своих оруженосцев, своих мулов, груженных золотом, своей кавалерии на чистокровных арабских конях и своих черных рабов.

Жак де Молэ мысленно видел блистательное возвращение побежденных, пытавшихся держаться героями.

«Мы стали никому не нужны и не поняли этого, – думал Великий магистр. – Мы по-прежнему говорили о новых крестовых походах, об отвоевании утраченных владений... Быть может, мы пользовались незаслуженно большими привилегиями, не по чину гордились. Были Христовым воинством, а превратились в банкиров церкви и короны. А чем больше у тебя должников, тем больше врагов».

Ловко же их провели! Трагедия началась в тот день, когда Филипп Красивый попросил принять его в орден тамплиеров, чтобы самому стать Великим магистром. Капитул ответил ему отказом, высокомерным и категорическим отказом.

«Правильно ли я поступил? – в сотый раз думал Жак де Молэ. – Не слишком ли я ревновал к власти своей? Нет, иначе поступить я не мог; в наших правилах записано раз и навсегда: «Среди командоров наших не может быть государей».

Не забыл король Филипп своей неудачи, не забыл нанесенной ему обиды. Начал действовать хитростью, вдвойне осыпая Жака де Молэ милостями и знаками дружеского расположения. Разве Великий магистр не крестил его, Филиппа, дочь Изабеллу? Разве он, Великий магистр, не был надежнейшей опорой королевства? Однако королевскую казну переместили из Тампля в Лувр. В то же самое время о тамплиерах поползла с чьей-то легкой руки глухая, но ядовитая молва: говорили, что они наживаются на продаже зерна и что они виновники голода. Что у них одно на уме – набивать кошелек, а Гроб Господень пусть-де остается в руках неверных. А поскольку тамплиеры выражались, как и подобает воинам, языком грубым и недвусмысленным, их обвиняли в богохульстве. Даже поговорку сложили – «бранится, как тамплиер». А от богохульника до еретика один шаг. Говорили, что у них процветают противоестественные нравы и что черные их рабы – волшебники и колдуны...

«Само собой разумеется, не все наши братья отличались святостью, а многих из нас сгубила бездеятельность».

Особенно упорно говорили, что во время церемонии приема неофитов ищущих заставляли отрекаться от Христа, плевать на Святое распятие, принуждали ко всевозможным мерзостям.

Под тем предлогом, что пора, мол, положить конец недостойным слухам, Филипп Красивый предложил Великому магистру во имя интересов и чести ордена расследование.

«И я согласился, – думал Великий магистр, – меня ввели в заблуждение, я был чудовищно обманут».

Ибо октябрьским днем 1307 года... Ах, никогда Молэ не забудет этого дня... «Еще накануне он меня лобызал, звал меня братом, по его настоянию я возглавлял процессию на погребении его невестки графини Валуа...»

На заре в пятницу 13 октября – поистине роковое число – король Филипп, еще задолго до того раскинувший гигантскую сыскную сеть, приказал от имени Святой инквизиции арестовать всех тамплиеров Франции по обвинению в ереси. Ногарэ самолично арестовал Жака де Молэ и сто сорок рыцарей, проживавших в Тампле...

Голос мессира Алэна де Парейля, бросившего лучникам какое-то приказание, оторвал Великого магистра от его печальных, сто раз передуманных мыслей. Он вздрогнул всем телом. Мессир Алэн велел лучникам построиться в походном порядке. Шлем он надел на голову. Оруженосец подвел ему лошадь и придержал стремя.

– Ну, пойдем, – сказал Великий магистр.

Узников пинками подогнали к повозке. Первым взошел на нее Жак де Молэ. Командор Аквитании, тот, у которого один глаз затянуло бельмом, человек, некогда отбросивший турецкое воинство от Сен-Жан-д'Акра, так и не понял, что происходит. Пришлось втащить его на повозку силой. Брат генеральный досмотрщик молча шевелил губами, продолжая бесконечную беседу с самим собой. Когда на повозку вскарабкался Жоффруа де Шарнэ, вдруг где-то рядом с конюшней завyla собака, и рубец, который пересекал лоб приора Нормандии, сурово нахмурившего брови, сморщился, налился кровью.

Четыре лошади, запряженные цугом, медленно повлекли тяжелую повозку.

Под неистовый рев толпы распахнулись главные ворота. Тысячи людей, все жители квартала Тамплъ и соседних кварталов, давя друг друга, жались к крепостным стенам. Лучники, возглавлявшие шествие, тупым концом пик прокладывали дорогу среди вопящей толпы.

– Дорогу королевским слугам! – кричали лучники.

Неподвижно сидя на коне, с обычным своим невозмутимым и скупающим видом Алэн де Парейль царил над всей этой сумятицей.

Но крики разом смолкли, когда появились тамплиеры. Увидав четырех иссохших, как скелеты, старцев, которые при толчках валялись друг на друга, парижане, охваченные невольной жалостью, на секунду онемели от удивления.

Но снова раздался крик: «Смерть им!», «Смерть еретикам!» – это кричали королевские стражники, смешавшиеся с народом. И тогда толпа, готовая присоединить свой голос к любому выкрику, исходящему от власть имущих, и побушевать, если это ничем не грозит, начала реветь во всю глотку:

– Смерть им!

– Воры!

– Идолопоклонники!

– Вы только взгляните на них! Что-то нынче эти язычники не так спесивы, как раньше! Смерть им!

По всему пути зловещего кортежа раздавались проклятия, угрозы, грубые шутки. Но пламя этой ярости не разгоралось. Добрая половина толпы по-прежнему молчала, и молчание это было не только свидетельством благоразумия – оно красноречиво говорило о многом.

Так много переменилось за эти семь лет! Теперь люди знали, как шло судилище. Видели тамплиеров на церковной паперти, где они показывали верующим переломанные во время пыток ноги. Были свидетелями того, как на площадях городов Франции раскладывали костры и сотнями сжигали на них рыцарей-храмовников. Слышали, что некоторые церковные комиссии отказывались выносить приговор и что пришлось даже назначить новых епископов – к примеру, брата коадьютора Ангеррана де Мариньи, – с целью добиться осуж-

дения тамплиеров. Утверждали, что сам папа Климент V уступил против воли, ибо, находясь в руках короля, убоялся судьбы предшественника своего папы Бонифация. К тому же за эти семь лет зерна не стало больше, цены на хлеб не упали, а возросли, и приходилось признать, что виновны в этом не тамплиеры.

Двадцать пять лучников с луком на перевязи и пикой за плечом шагали перед повозкой, столько же шло по обе ее стороны и столько же замыкало шествие.

«Ах, будь у нас хоть чуточку прежней силы», – шептал Великий магистр. В двадцать лет он, не задумываясь, прыгнул бы на плечи ближайшего лучника, выхватил его пикой и попытался убежать или дрался бы, пока не постигла бы его тут же, на парижских улицах, смерть. А сейчас слабые старческие ноги не могли его удержать на тряской повозке.

Позади брат досмотрщик по-прежнему бормотал свое, и слова с шипением вылетали из его беззубого рта:

– Они нас не осудят. Не верю, чтобы они нас осудили. Мы же теперь никому не опасны...

А старый кривой тамплиер, только сейчас вышедший из своего оцепенения, шептал:

– Как славно на улице! Как славно подышать свежим воздухом. Не правда ли, брат мой?

«Он даже не понимает, куда нас везут», – подумал Великий магистр.

Приор Нормандии дотронулся до его плеча.

– Мессир, брат мой, – произнес он вполголоса, – видите, там, в толпе, многие плачут, крестятся. Значит, мы не одиноки на нашем тернистом пути.

– Люди эти могут нас жалеть, но помочь нам они бессильны, – ответил Жак де Молэ. – Мне бы хотелось видеть здесь иные лица.

Брат приор понял, какие именно лица хотелось бы видеть Великому магистру и какой безумной последней надеждой тешит он себя. Но тут же он сам стал жадно всматриваться в толпу. Ведь известное количество тамплиеров сумело вырваться в 1307 году из когтей сыска, кое-кто укрылся в монастырях, другие, наоборот, сложив с себя духовный сан, жили в безвестности, скрывались в селах и городах; одни перебрались в Испанию, где арагонский король, отказавшись повиноваться приказам короля Франции и папы, предоставил убежище командорам тамплиеров, основав для них новый орден. И наконец, те, что предстали перед более милостивым судилищем, были отданы на поруки монахам ордена госпитальеров. Все эти бывшие тамплиеры, елико возможно, поддерживали между собой связи и находили способ тайно общаться друг с другом.

И Жак де Молэ думал, что, быть может...

Быть может, они устроили заговор. Быть может, из-за угла улицы, из-за угла этой улицы Блан-Манто, из-за угла улицы Бретонри, из-за ограды монастыря Сен-Мэрри выскочит группа людей и, выхватив спрятанное под кольчугой оружие, разгонит лучников, а другие, притаившиеся в оконных нишах, начнут метать камни. Повозка помчится галопом, нападающие в довершение паники перережут солдатам путь...

«Но ради чего бывшие наши братья решатся на такой поступок? – думал Молэ. – Для того чтобы освободить своего Великого магистра, который предал их, который отрекся от ордена, не выдержал пыток...»

И все же он всматривался в толпу, в самые задние ее ряды, но видел лишь почтенных отцов семейства, которые несли детей на плечах, чтобы те могли насладиться зрелищем и чтобы потом, много лет спустя, когда перед ними произнесут слово «тамплиер», вспомнили бы четырех бородатых трясущихся старцев, окруженных конвоем, словно злодеи.

Генеральный досмотрщик по-прежнему что-то шепелявил, а герой Сен-Жан-д'Акра по-прежнему бормотал о том, как славно прогуляться утром.

Великий магистр почувствовал, как в его душе нарастает гнев, граничащий с безумием, – гнев, который охватывал его временами в темнице и заставлял с воплями биться

о каменные стены. Да, он готов был совершить нечто страшное, ужасное, что именно – он не знал сам... Но эта потребность была сильнее его.

Он принимал смерть, смерть была для него даже избавлением, но он не желал умирать обесчещенным. В последний раз он почувствовал в старческой крови тот боевой пыл, который воодушевлял его в юности. Он хотел умереть как воин.

Он нащупал руку Жоффруа де Шарнэ, старого своего соратника, единственного несломленного, сильного человека, бывшего с ним, и крепко сжал эту руку.

Вскинув на него глаза, приор Нормандии увидел, что на висках Великого магистра напряженно бьются жилы, похожие на голубых змеек.

Кортеж подходил к мосту Нотр-Дам.

Глава III

Невестки короля

Аппетитный запах горячего теста, меда и масла стоял вокруг лотка.

– Вафли горячие, горячие вафли! На всех не хватит! А ну-ка, горожане, спешите, налетайте. Вафли горячие! – надрывался торговец, возясь у печурки, стоявшей прямо под открытым небом.

Он поспевал повсюду разом – раскатывал тесто, вытаскивал из огня готовые вафли, выдавал сдачу, зорко следил за тем, чтобы мальчишки не стащили чего с лотка.

– Вафли горячие!

Кондитер так захлопотался, что не заметил, как новый покупатель протянул к стойке холеную белую руку, взял тонкую трубочку и положил взамен ее денье. Он успел заметить только, что левой рукой покупатель положил вафлю обратно, откусив от нее всего один кусочек.

– Уж больно заелись! – проворчал торговец, раздувая печурку. – Какого им еще рожна нужно: мука пшеничная, а масло прямо из Вожирара...

Оторвавшись от печурки, он поднял глаза и, увидев покупателя, к которому относилась его хула, так и замер с открытым ртом – конец фразы застрял у него в глотке. Перед лотком стоял высокий человек с огромными неподвижными глазами, в белом капюшоне и плаще до колен.

Кондитер не успел отвесить поклон и пробормотать извинение, как человек в белом капюшоне уже отошел прочь.

Опустив руки и не замечая, что целый противень вафель уже начал гореть, хозяин все глядел вслед этому человеку, видел, как он смешался с толпой.

Если верить путешественникам, объехавшим Африку и Восток, торговые кварталы Ситэ напоминали арабские рынки. То же непрерывное движение толпы, те же тесно составленные лавчонки и лотки, те же запахи кипящего масла, пряностей и кожи, те же неторопливо шагающие покупатели и те же зеваки, забившие все проходы. Каждая улица, каждый переулок имел свою специальность: здесь, в комнатухе за лавкой, сновал взад и вперед по станку челнок ткача; тут стучали по железной ноге башмачники; рядом ловко действовал шилом шорник, а чуть подальше столяр вытачивал ножки для табурета. Были улицы, где торговали птицей; были улицы, где торговали травами с овощами; были «кузнечные» улицы, где с оглушительным звоном бил по наковальне молот и в горне багровели раскаленные угли. Золотых дел мастера облюбовали себе набережную, которая так и называлась Набережной ювелиров, и сидели, согнувшись над тиглями.

Узенькая полоска неба едва проглядывала меж деревянных и глинобитных домов, крыши которых почти соприкасались, так что из окна можно было свободно протянуть руку соседу, жившему в доме напротив. Земля, за исключением маленьких островков, была

покрыта зловонной грязью, по которой в зависимости от состояния и положения кто шлепал босиком, кто семенял в деревянных башмаках, кто ступал в кожаных туфлях.

Широкоплечий человек в белом капюшоне, заложив руки за спину, медленно брел среди шумливой толпы и, казалось, не замечал тесноты и толчков. Впрочем, многие прохожие с поклоном уступали ему дорогу, на что он отвечал коротким наклоном головы. Он был атлетического сложения, белокурые, с рыжинкой шелковистые волосы падали волнами почти до плеч, правильное, невозмутимо спокойное лицо поражало удивительной красотой.

Три королевских стражника в голубых камзолах – в руке каждого красовался жезл, оканчивающийся резной лилией, символом их власти, – следовали на некотором расстоянии за прохожим в белом капюшоне, останавливались, когда останавливался он, и шли вперед, когда шел вперед он.

Вдруг какой-то юноша в узком полукафтани, с трудом сдерживая на сворке трех борзых, загородил проход в соседний переулок и, увлекаемый сильными псами, бросился под ноги прохожему, чуть его не опрокинув. Собаки сбились в кучу и завывали.

– Вот еще нахал! – молодой человек говорил с заметным итальянским акцентом. – Вы чуть моих собак не подавили. Жаль, что они в вас не вцепились.

Невысокий, но ладно сложенный юноша лет восемнадцати от роду, со жгучими черными глазами и тонким овалом лица, теперь уже нарочно загородил дорогу и выкрикивал что-то басом, стараясь придать себе вид взрослого мужчины. Кто-то из прохожих взял его под руки и шепнул на ухо несколько слов. Юноша тут же снял шапку и склонился перед незнакомцем в глубоком поклоне, в котором чувствовалось уважение, лишенное, впрочем, всякого раболепства.

– Прекрасные собаки! Чьи же они? – спросил прохожий в белом капюшоне, не отрывая от лица юноши своих огромных холодных глаз.

– Моего дяди банкира Толмеи, с вашего позволения, – ответил юноша.

Не сказав больше ни слова, человек в белом капюшоне двинулся вперед. Когда его фигура скрылась в толпе, а стражники проследовали в том же направлении, возле молодого итальянца собрался кружок зевак, раздался громкий хохот. А юноша не трогался с места, казалось, он не мог стерпеть обиду; даже собаки и те смущенно жались к его ногам.

– Что-то он теперь притих, – раздался насмешливый голос.

– Поглядите-ка на него! Чуть было не свалил короля на землю, да еще его же и обругал.

– Тебя, сынок, веселенькая ночь ждет, будешь ночевать в тюрьме и вдобавок тридцать горячих к ужину получишь.

Итальянец сердито оглянулся на зевак.

– Ну и что тут такого? – заговорил он. – Я ведь его никогда не видал; как же я мог его узнать? И потом, запомните, горожане, что родом я из той страны, где нет королей, и там можно не жаться к стене. В моем родном городе Сиене каждый горожанин сам себе король. Кто хочет сразиться с Гуччо Бальони – пусть выходит.

Он, словно вызов, бросил толпе свое имя. Непомерной гордыней горели глаза юного тосканца. У пояса поблескивал кинжал. Никто не спешил откликнуться на его вызов; юноша щелкнул пальцами, подымая собак, и пошел своей дорогой; как он ни бодрился, он не мог скрыть уныния при мысли, не возымеет ли для него эта дурацкая выходка печальных последствий.

Ибо толкнул он не кого иного, как самого короля Франции Филиппа Красивого. Этот властелин, с которым не мог и мечтать сравниться могуществом ни один здравствующий государь, любил бродить по городу как простой горожанин, любил по дороге справиться о ценах на товары, попробовать фрукты, проверить добротность ткани, послушать, о чем судачит парижский люд. Он как бы щупал пульс жизни своего народа. Иной раз чужезе-

мец, не зная, кто перед ним, справлялся у короля о дороге. Раз даже его остановил солдат и потребовал уплаты жалованья. Столь же скупой на слова, как и на деньги, король чаще всего обходился во время таких прогулок двумя-тремя фразами и ограничивал свои расходы двумя-тремя су.

Король проходил по мясному рынку, как вдруг на колокольне собора Парижской Богоматери тревожно запели колокола и издали донесся громкий шум.

– Вот они! Вот они! – раздались крики.

Шум все приближался; люди в волнении бросились бежать. Здоровенный мясник вышел из-за прилавка и, не выпуская из рук резака, завопил во всю глотку:

– Смерть еретикам!

Жена дернула мясника за рукав:

– Опомнись, какие они еретики! Сам ты еретик! Иди-ка лучше в лавку, займись с покупателями, горе ты мое горькое, бездельник этакий!

Супруги сцепились. Их тут же окружила толпа зевак.

– Они сами во всем признались перед судьями, – вопил мясник.

– А судьи-то каковы? – подхватил из толпы чей-то голос. – Судьи – они судьи и есть. Заплатишь им побольше, ну и рассудят по-твоему, бояться, что их под зад коленом с места турнут.

Тут все заговорили хором.

– Тамплиеры – они святые люди. Сколько одной милостыни раздавали.

– Взяли бы их деньги, а самих бы не мучили.

– А потому и мучили, что король их первый должник.

– Правильно король поступил.

– Что король, что тамплиеры – один черт, – крикнул молоденький подмастерье. – Если волки промеж собой грызутся, нам же лучше – значит, целы будем.

Какая-то женщина случайно оглянулась, побледнела как полотно и сделала знак остальным – молчите, мол. Позади стоял Филипп Красивый и спокойно глядел на всех своим неподвижным, ледяным взором. Стражники незаметно приблизились к королю, готовые вмешаться в случае надобности. В мгновение ока толпа рассыпалась, зеваки опрометью бросились по улице, крича во весь голос:

– Да здравствует король! Смерть еретикам!

Ни один мускул не дрогнул на лице короля. Казалось, он ничего не слышал. Если ему и доставляло удовольствие заставить людей врасплох, то наслаждался он этим втайне.

А шум становился все оглушительнее. Кorteж, направлявшийся к собору Парижской Богоматери, показался на углу улицы, и король, укрывшись в проходе между двумя домами, заметил Великого магистра, стоявшего на повозке вместе с тремя своими сотоварищами. Великий магистр держался прямо; при виде его король недовольно поморщился: Жак де Молэ был скорее похож на мученика, нежели на побежденного.

Отстав от жадной до зрелищ толпы, бросившейся вслед за повозкой, Филипп Красивый свернул на внезапно опустевшую улицу и все тем же спокойным шагом направился ко дворцу.

Пусть толпа поворчит немного, пусть Великий магистр гордо выпрямляет свой старческий хилый стан – через час все будет кончено, и приговор – король был в этом уверен – вынесут единогласно. Через час дело целых семи лет будет завершено, закончено. Епископский трибунал учрежден; лучников предостаточно; стражники надежно охраняют все переулочки. Через час дело тамплиеров перестанет занимать умы, и в любом случае королевская власть лишь укрепитя.

«Даже дочь моя Изабелла будет довольна. Я уступлю ее просьбе и всех удовлетворю. Но дольше тянуть было уже нельзя», – подумал Филипп Красивый, вспомнив только что услышанный разговор.

Он прошел к себе во дворец через Гостиную галерею.

Филипп Красивый заново перестроил дворец, и от старых зданий осталась только Сент-Шапель, заложенная при деде Филиппа Людовике Святом. Возведение новых зданий и украшение их было в духе той эпохи. Государи соперничали на поприще зодчества: если в Вестминстере строили башню, то тут же возводилась башня в Париже. Новый архитектурный ансамбль Ситэ с огромными белокаменными башнями, возвышающимися над Сеной, выглядел внушительно, даже чуть-чуть кичливо.

Филипп, прижимистый насчет мелких трат, не скупился, когда речь шла об утверждении его могущества. Но поскольку не в его характере было пренебрегать выгодой, он за солидное вознаграждение предоставил торговцам право торговать в длинной галерее, которая шла через весь дворец, поэтому она звалась в ту пору Гостиной галереей, впоследствии ее переименовали в Торговую галерею.

Гостиная галерея представляла собой просторное крытое помещение, похожее на собор с двумя приделами. Стройностью ее пропорций восторгались приезжие чужеземцы. Над колоннадой стояли в ряд сорок статуй сорока французских королей, которые сменялись на престоле королевства франков, начиная с Фарамона и Меровинга. Напротив статуи Филиппа Красивого возвышалась статуя Ангеррана де Мариньи, коадьютора и правителя королевства, того, кто вдохновлял короля на труды и направлял их.

Вокруг колонн шли прилавки, заваленные различными принадлежностями туалета, стояли рундуки с женскими нарядами; купцы бойко торговали украшениями, вышивками и кружевом, а вокруг вечно толпились хорошенькие парижанки и придворные дамы. Открытая для всех и каждого, Гостиная галерея стала излюбленным местом прогулок, деловых встреч и нежных свиданий. Под сводами раздавался звонкий смех, слышался гул голосов, веселый женский лепет, но весь этот шум покрывали пронзительные выкрики зазывал. Тут и там звучал иностранный говор, преимущественно итальянский и фламандский.

Какой-то сухопарый малый, решивший ввести в употребление носовые платки и нажиться на этой новинке, выхваливал свой товар, размахивая перед носом слушавших его роскошных дам квадратиками полотна с зубчиками по краям.

– Разве не обидно, прекрасные дамы, – кричал он, – сморкаться с помощью собственных пальцев или в рукав, когда существуют прелестные платочки, нарочно для того изобретенные? Разве вся эта красота не создана для ваших сиятельных носиков?

Рядом благообразный старичок из кожи лез вон, стараясь всучить девице штуку английских кружев.

Филипп Красивый не спеша шел по галерее. Придворные встречали его низкими поклонами. Женщины приседали в реверансе. Король любил этот веселый шум, смех, эти знаки почтения, лишний раз подчеркивающие его власть, но скрывал свои чувства от посторонних взглядов. Здесь набатный звон, рвущийся с колокольной башни Парижской Богоматери, заглушенный гулом голосов, казался совсем далеким, мягким, даже добродушным.

Вдруг король заметил двух женщин, стоявших в обществе высокого, хорошо сложенного белокурого юноши, – прелестная группа привлекала всеобщее внимание и взгляды своей сияющей молодостью и изяществом. Молоденькие дамы были невестки короля – те, кого называли «бургундские сестры». Жанна, графиня Пуатье, жена среднего сына Филиппа, и Бланка, младшая ее сестра, жена младшего сына короля. Их спутник был в костюме придворного.

Они беседовали вполголоса, сдерживая невольное оживление молодости. Филипп Красивый замедлил шаг, присматриваясь к своим невесткам.

«Мои сыновья не могут на меня пенять, – подумал он. – Я не только преследовал интересы короны, не только искал выгодных союзов, я дал им прехорошеньких спутниц жизни».

«Бургундские сестры» мало походили друг на дружку. Старшей, Жанне, супруге Филиппа Пуатье, исполнился двадцать один год. Она была высока и стройна, каштановые волосы ее казались почти пепельными, что-то в ее сдержанных манерах, в привычке искоса взглядывать на собеседника напоминало королю прекраснейшую борзую из его своры. Одевалась она скромно и просто, но простота эта лишь подчеркивала изысканность ее туалета. В тот день на ней было длинное платье светло-серого бархата с узкими рукавами, поверх которого она набросила полудлинную накидку, отороченную горностаем.

Ее сестра, пухленькая Бланка, чуть ниже ростом, румянее, ребячливее, была моложе ее на три года, на ее щеках виднелись совсем детские ямочки, которым суждено было сохраниться еще надолго. При светлых волосах золотистого оттенка у нее были – явление редкое для блондинки – карие глаза и прелестные крохотные зубки. Одеваться было для нее не только забавой, но и страстью. В этой своей страсти она доходила до крайностей, до утраты хорошего вкуса. Она питала слабость к непомерно большим чепцам с плюсовыми оборочками и нацепляла на воротник, манжеты, к поясу бесчисленное количество драгоценных пряжек и брошей. Она любила платья, расшитые сверху донизу жемчугом и золотым позументом. Но Бланка была так мила, что ей прощали любое безрассудство, была так довольна сама собой, что радовала все взоры.

Маленькая группа оживленно обсуждала какое-то дело, все время упоминая о сроке в пять дней... «Ну разумно ли поднимать такой переполох из-за пяти дней?» – как раз произнесла графиня Пуатье, когда из-за колонны неожиданно для собеседников возникла фигура короля.

– Добрый день, дочери мои, – сказал он.

Молодые люди разом замолкли. Юный красавец склонился в нижайшем поклоне, отступил на шаг, как то полагалось ему по чину, и потупил глаза. Сестры, сделав глубокий реверанс, молча стояли перед королем; обе покраснели и слегка растерялись. По их смущенным лицам видно было, что их застигли врасплох.

– Ну что ж, дочки, – продолжал король, – уж не помешал ли я вашей болтовне. О чем это вы тут говорили?

Его не удивил подобный прием. Он уже давно привык к тому, что все люди, с которыми он сталкивался, даже домашние, даже самые близкие родственники, робели в его присутствии. Сам он нередко с удивлением спрашивал себя, почему при его приближении между ним и другими людьми возникает ледяная стена – за исключением только Мариньи и Ногарэ; не мог он понять и того, почему на всех лицах при виде его вдруг появлялось испуганное выражение. А ведь он старался быть приветливым и любезным. Он желал, чтобы его одновременно и боялись, и любили. Непомерно большое притязание...

Первой обрела свою обычную самоуверенность маленькая Бланка.

– Простите нас, государь, – произнесла она, – но не так-то приятно повторить то, что мы говорили.

– Почему же? – спросил Филипп Красивый.

– Потому что... потому что мы плохо отзывались о вас, – ответила Бланка.

– В самом деле? – сказал Филипп, не зная, принять ли слова невестки за шутку, и удивляясь, что с ним осмеливаются шутить.

Он бросил быстрый взгляд на юношу, который, стоя на почтительном расстоянии, видимо, чувствовал себя не совсем ловко в присутствии короля, и спросил, указывая на него движением подбородка:

– Кто это такой?

– Мессир Филипп д'Онэ, конюший дяди Валуа; дядя прислал его ко мне в качестве провожатого, – отозвалась графиня Пуатье.

Юноша снова отвесил низкий поклон.

На мгновение в голове короля промелькнула мысль, что сыновья его, пожалуй, поступают не совсем разумно, позволяя своим женам разгуливать с такими красивыми конюшими, и что прежний обычай, по которому принцессы имели право выходить из дома только в сопровождении придворных дам, был не так-то плох.

– У вас есть брат? – спросил он молодого конюшего.

– Да, государь, мой брат находится при его высочестве графе Пуатье, – ответил д'Онэ, с трудом выдерживая тяжелый королевский взгляд.

– Верно, я вас всегда путаю, – произнес король. И, обратившись к Бланке, спросил: – Итак, что же вы обо мне говорили дурного?

– Мы с Жанной пеняли на вас, батюшка, ибо наши мужья совсем отбились от рук: пять ночей кряду вы держите их допоздна на заседаниях Совета или посылаете бог весть куда по государственным делам.

– Дочки, дочки, разве можно говорить о таких вещах вслух, – укоризненно сказал король.

Он был целомудрен от природы, и говорили, что в течение своего девятилетнего вдовства не знал женщин. Но он не мог сердиться на Бланку. Ее живой, веселый нрав, ее смелые речи обезоружили бы любого. Хотя слова невестки несколько покоробили его, в душе он забавлялся ее отвагой. Король улыбнулся, что случалось не чаще раза в месяц.

– А что скажет третья? – спросил он.

Под словом «третья» он подразумевал Маргариту Бургундскую, кузину матери Жанны и Бланки, жену его старшего сына Людовика, короля Наваррского.

– Маргарита? – воскликнула Бланка. – Она заперлась у себя, она сердится, она говорит, что вы такой же злой, как и красивый.

И снова король не мог сразу решить, как следует ему принять последние слова невестки. Но Бланка смотрела на него таким ясным, таким наивным взглядом. Только она одна осмеливалась шутить с королем, только она одна не трепетала в его присутствии.

– Ну что ж, утешьте ее и утешьтесь сами, Бланка. Людовик и Карл проведут нынешний вечер с вами. Сегодня в королевстве хороший день, – сказал Филипп. – Вечернего заседания совсем не будет. А ваш супруг, Жанна, вернется завтра, я знаю, что с его помощью наши дела во Фландрии сильно продвинулись вперед. Я им доволен.

– Тогда я вдвойне отпраздную его приезд, – промолвила Жанна, склонив свою прекрасную шею.

Для короля Филиппа этот разговор был пределом многословия. Он резко повернулся к невесткам спиной и, даже не попрощавшись, зашагал к огромной лестнице, ведущей в его покои.

– Уф! – вздохнула Бланка, приложив руку к бешено бившемуся сердцу и следя взором за удаляющимся королем. – На сей раз спаслись.

– Я думала, что умру от страха, – произнесла Жанна.

Филипп д'Онэ вспыхнул до корней волос, но теперь его щеки окрасил румянец гнева, а не смущения.

– Благодарю вас, – сухо сказал он Бланке, – не особенно-то приятно выслушивать подобные вещи.

– А что прикажете делать? – воскликнула Бланка. – Может быть, вы посоветуете мне что-нибудь получше? Сам стоял как вкопанный и что-то мямлил. Он подкрался сзади, и мы его не видели. А во всем государстве нет более чуткого уха. Если он услышал наши

последние слова, иного способа вывернуться не было. И вместо того, чтобы меня обвинять, вы лучше бы поблагодарили меня, Филипп.

– Перестаньте, – сказала Жанна. – Пойдем скорее к лавкам; совершенно незачем стоять с таким заговорщицким видом.

Непринужденным шагом они двинулись к лоткам, отвечая на почтительные приветствия встречных.

– Мессир, – вполголоса произнесла Жанна, – должна вам заметить, что только вы и ваша глупая ревность – причина всего. Если бы вы тут не стонали, не плакались на жестокость королевы Наваррской, король не подслушал бы нашего разговора.

Филипп шагал с хмурым видом.

– Верно, верно, – подхватила Бланка, – ваш брат куда приятнее вас.

– Еще бы, ведь им не пренебрегают, и я от души рад за него, – ответил Филипп. – Вы правы, я глупец, ибо лишь глупец может позволить обращаться с собой как со слугой женщине, которая зовет его к себе, только когда ей вздумается поразвлечься, и отправляет прочь, когда желание проходит, которая неделями не подает признаков жизни, а при встрече даже не желает узнавать. Какую еще шутку она сыграет со мной?

Филипп д'Онэ, конюший его высочества графа Валуа, брата короля Франции, уже в течение трех лет был любовником Маргариты, старшей невестки Филиппа Красивого. И если он осмеливался так дерзко говорить о ней с Бланкой Бургундской, супругой Карла, младшего сына Филиппа Красивого, то лишь потому, что сама Бланка состояла в связи с его братом Готье д'Онэ, конюшим графа Пуатье. И если он осмеливался говорить таким образом в присутствии Жанны, графини Пуатье, то лишь потому, что Жанна, хотя сама до сих пор и не завела себе друга сердца, потакала, отчасти по слабости характера, отчасти развлечения ради, любовным интригам двух других невесток короля, устраивала их свидания, помогала встречам.

Итак, к описываемому нами времени, к ранней весне 1314 года, к тому самому дню, когда шел суд над тамплиерами и не было у короны заботы важнее, из трех французских принцев двое – старший, Людовик, и младший, Карл, – стали рогоносцами благодаря двум конюшим, один из коих принадлежал к свите их дяди, другой – к свите их родного брата, и все это при благосклонном участии их невестки Жанны, верной супруги, но добровольной сводницы, втайне наслаждавшейся видом запретной любви.

Следовательно, те сведения, которые были доставлены английской королеве несколькими днями раньше, вполне отвечали истине.

– Во всяком случае, нынче вечером Нельская башня отменяется, – произнесла Бланка.

– Не вижу никакой разницы между сегодняшним вечером и всеми предыдущими, – возразил Филипп д'Онэ. – Я просто с ума схожу при мысли, что этой ночью Маргарита в объятиях Людовика Наваррского будет шептать те же слова...

– Ах, друг мой, это уж слишком, – высокомерно произнесла Жанна. – Только что вы обвиняли Маргариту, кстати без всякого основания, в том, что у нее есть другие любовники. А сейчас вы готовы лишить ее даже законного супруга. Вы просто забываете, кто вы и кто я, очевидно, вам вскружила голову моя снисходительность. Боюсь, что завтра мне придется посоветовать моему дяде отослать вас на несколько месяцев в графство Валуа, там в ваших охотничьих угодьях вы успокоитесь и одумаетесь.

Красавец Филипп сразу пришел в себя.

– О мадам, – пробормотал он. – Я ведь там умру.

Сейчас он казался еще очаровательнее, чем в гневе. Он опустил свои длинные шелковистые ресницы, изящно очерченный подбородок дрогнул – он был так красив, что стоило поугадать его ради одного удовольствия видеть это милое выражение страха. Он вдруг стал

таким несчастным, таким трогательным, что «бургундские сестры» пожалели его и улыбнулись, забыв недавние тревоги.

– Передайте вашему брату Готье, что нынче вечером я буду тосковать о нем, – сказала Бланка нежнейшим голоском.

И снова самый проникательный человек встал бы в тупик и не мог бы решить, говорит она правду или лжет.

– Может быть, стоит предупредить Маргариту, передать ей то, что мы узнали? – спросил нерешительно д'Онэ. – В том случае, если она собралась сегодня вечером...

– Пусть Бланка делает как знает, – ответила Жанна, – я не желаю больше вмешиваться в ваши дела. Рано или поздно все кончится печально, право же, не стоит компрометировать себя, и чего ради?

– Конечно, – подхватила Бланка, – ты не пользуешься благоприятными обстоятельствами, а ведь твой муж чаще всего бывает в отлучке. Вот если бы нам с Маргаритой так везло...

– Но у меня просто нет вкуса к таким вещам, – сказала Жанна.

– Вернее, нет достаточно храбрости, – кротко возразила Бланка.

– Ты права, если бы даже я и хотела солгать, мне все равно не удалось бы сделать это так ловко, как умеешь ты, сестрица, и уверяю вас, я бы немедленно выдала себя с головой.

Последние слова Жанна задумчиво растянула. Нет, ей действительно не хотелось обманывать своего супруга Филиппа Пуатье, но, с другой стороны, до смерти надоела эта репутация святоши и недотроги.

– Мадам, – обратился к ней Филипп, – не могли бы вы послать меня к вашей невестке с каким-нибудь поручением?

Жанна искоса взглянула на юношу и вдруг почувствовала себя растроганной.

– Неужели вы дня не можете прожить без вашей прекрасной Маргариты? – спросила она. – Так и быть, pošлю вас. Хотите, куплю в подарок Маргарите какую-нибудь безделушку, а вы отнесете ей? Но помните, это уже в последний раз.

Они подошли к прилавку. Пока дамы перебирали драгоценности, причем Бланку интересовали только самые дорогие вещи, Филипп д'Онэ вспоминал свою встречу с королем.

«Каждый раз, когда он меня видит, он осведомляется о моем имени, – думал Филипп. – По-моему, сегодня это было уже в десятый раз. И всегда вспоминает моего брата».

Его охватило неясное предчувствие беды, и он спрашивал себя, почему король внушает ему такой ужас. Без сомнения, причиной тому неестественно огромные неподвижные глаза Филиппа, их странный, не поддающийся определению цвет – не то серый, не то бледно-голубой, похожий на поверхность озера, скованного льдом, сверкающим под лучами зимнего солнца, – глаза, которые врезаются в память и которые все еще видишь через много-много часов после встречи.

Ни «бургундские сестры», ни их кавалер не заметили высокого человека, почти великана, в охотничьем костюме, который стоял у соседнего прилавка; он с притворным жаром торговал золотую пряжку и уголком глаза следил за молодыми людьми. Человек этот был граф Робер Артуа.

– Филипп, у меня нет при себе денег. Заплатите, пожалуйста.

Голос Жанны вывел юношу из задумчивости. Он с восторгом исполнил ее просьбу. Жанна выбрала в подарок Маргарите шнур, свитый из золотых нитей.

– И мне такой же, – потребовала Бланка.

У Бланки тоже не оказалось денег, и за ее шнур тоже заплатить пришлось Филиппу. Это повторялось всякий раз, когда он сопровождал сестер на прогулке. Обе заверяли, что тут же вернут долг, но обе забывали о долге, а Филипп – слишком галантный кавалер – никогда им об этом не напоминал.

«Будь осторожен, сынок, – предупредил как-то сына мессир Готье д'Онэ. – Помни, что чем богаче женщина, тем она дороже нам обходится».

Филипп убедился в этом на собственном опыте. Но отнюдь не горевал по этому поводу. Д'Онэ были богаты, и их ленные владения Вемар и Онэ-ле-Бонди, лежавшие между Понтуазом и Люзаршем, приносили огромные доходы. Филипп старался уверить себя, что дружба со столь высокопоставленными особами принесет ему впоследствии и деньги и почет. А сейчас, когда речь шла об удовлетворении страсти, даже золото не имело в его глазах никакой цены.

Он держал в руках драгоценный подарок – хороший предлог, чтобы проникнуть в Нельскую башню, по ту сторону реки, где жили король и королева Наваррские. Если пройти мостом Сен-Мишель, то можно быть там через десять минут.

Он откланялся принцессам и вышел из Гостиной галереи.

На звоннице собора Парижской Богоматери замолк бас колокола, и над островом Ситэ воцарилась необычная, тревожная тишина. Что же происходило там, в соборе?

Глава IV

Когда Собор Парижской Богоматери был еще белым

Лучники, вытянувшись цепью, сдерживали напор толпы, рвущейся на паперть собора. Ко всем окнам жались любопытные лица.

Утренняя дымка разошлась, и бледные солнечные лучи робко скользили по белым каменным стенам собора. Ибо храм был достроен только семьдесят лет тому назад, и до сих пор его не переставали украшать и прихорашивать. Собор сохранил еще блеск новизны, и утренний свет подчеркивал линию стрелок свода, свободно проникал сквозь каменное кружево главной розетки, углубляя розоватые тени в нишах над колоннами, где дремала бесконечная вереница статуй.

По случаю суда с паперти прогнали поближе к домам торговца цыплятами, который неизменно являлся сюда по утрам со своей живностью.

Пронзительное кудахтанье пернатых пленниц раздирало тишину, ту гнетущую тишину, что так поразила Филиппа д'Онэ, когда он выбрался из Гостиной галереи. В воздухе летали перья и чуть не забивались в рот прохожим.

Впереди своих лучников в картинной позе замер капитан Алэн де Парейль.

На самых верхних ступенях лестницы, ведущей к паперти, стояли четыре тамплиера, спиной к толпе, лицом к церковному трибуналу, разместившемуся на пороге широко распахнутой двери главного входа. На скамьях позади стола расселись епископы, каноники, церковнослужители.

Любопытные показывали друг другу трех кардиналов, которых прислал сюда в качестве своих легатов папа Климент, дабы подчеркнуть, что вынесенный приговор не может быть ни обжалован, ни опротестован перед Святым престолом. Чаше других взгляды зрителей искали Жана де Мариньи, молодого архиепископа Санского, брата коадьютора, того, что самолично вел дело против тамплиеров, а также и брата Рено, исповедника короля и Великого инквизитора Франции.

Тридцать монахов, кто в коричневом, кто в белом облачении, толпились за спиной членов судилища. Среди собравшихся священнослужителей находился лишь один человек, не имевший духовного сана, – это был прево города Парижа по имени Жан Плуабуш, приземистый мужчина лет пятидесяти. Он сердито хмурился и, казалось, не испытывал особого восторга от столь блистательного соседства. Здесь он представлял светскую, королевскую власть, и в обязанность его входило поддерживать порядок. Его взгляд беспрерывно переходил от толпы к рядам лучников, выстроившихся под командой капитана, останавливался

на молодом архиепископе Санском; по лицу прево нетрудно было догадаться о мучившей его мысли: «Лишь бы только все прошло гладко».

Солнечные лучи играли на золоченых митрах, на епископских посохах, на пурпуровых кардинальских одеяниях, на багрово-красных епископских одеяниях, пробегали по бархатным, отороченным горностаем коротким мантиям, отражались в наперсных крестах, в металлических кольчугах, золотили обнаженные клинки. Эта роскошная игра красок, эти яркие блики еще резче подчеркивали контраст между группой обвиняемых и пышным судилищем, собравшимся ради них, между судьями и четырьмя старыми, оборванными тамплиерами, которые стояли, прижавшись друг к другу, неразличимо серые, будто изваянные из пепла.

Первый папский легат кардинал-архиепископ д'Альбано стоя читал постановление суда. Читал медленно, приподнято-торжественным тоном; он упивался звуком собственного голоса, сиял от самодовольства, сиял от сознания, что выступает перед новой, чужеземной аудиторией. Он то испуганно открывал глаза, словно его ужасало даже простое перечисление совершенных тамплиерами проступков, то величаво елейным тоном излагал суть какой-нибудь новой улики, нового злодеяния, перечислял новые отягчающие обстоятельства.

— ...Заслушаны показания братьев Жеро дю Пасаж и Жана де Кюньи, кои утверждают, равно как и многие другие, что при принятии в орден тамплиеров их понуждали силой плевать на Святое распятие, ибо — как говорили им — сие есть лишь кусок дерева, а господь бог наш — на небесах... Заслушаны показания брата Ги Дофэна, заявившего, что высшая братия терзала его плоть, желая удовлетворить с ним похоть свою, понуждала его дать согласие исполнить то, что от него потребуют... Заслушаны показания главы ордена тамплиеров де Молэ, каковой при допросе признал свою вину и сообщил, что...

Люди, теснившиеся вокруг паперти, с трудом улавливали смысл приговора, ибо легат говорил с сильным итальянским акцентом и слишком уж торжественным тоном. Словом, легат перестарался и затянул. Толпа начинала терять терпение...

Слушая обвинения, лжесвидетельства, признания, вырванные пыткой, Жак де Молэ шептал:

— Ложь, ложь, ложь!..

Он так долго твердил это слово, так старательно выговаривал его, что из горла у него вырвался какой-то глухой звук, и тамплиеры удивленно оглянулись на своего магистра.

Гнев, охвативший Жака де Молэ, еще когда их везли на повозке, не только не угас, но рос с каждой минутой. Жилки на ввалившихся висках бешено пульсировали.

Ничего не произошло, никто не прервал кошмара, и уже не вырвется из толпы зевак отряд бывших тамплиеров. Неумолим приговор судьбы.

— ...Заслушаны показания брата Юга де Пейро, каковой сообщил, что неофиты обязаны были трижды отречься от Иисуса Христа...

Югом де Пейро звался брат генеральный досмотрщик. Он обратился к Жаку де Молэ искаженное ужасом лицо и пробормотал:

— Брат мой, брат мой, когда же я это говорил?

Четыре сановных тамплиера, покинутые богом и людьми, чувствовали, что их словно зажало огромными тисками между толпой и судилищем, между королевской властью и властью церкви. Каждое слово кардинала-легата сжимало тиски, и одной лишь смертью мог закончиться этот кошмар.

Как до сих пор не поняли допрашивающие, хоть им и объясняли сотни раз, что прозелитов обязывали пройти через обряд отречения — лишь для того, дабы укрепить их дух на тот случай, если попадутся они в руки неверных мусульман, кои заставляют отречься от веры Христовой.

Великий магистр испытывал неистовое желание схватить прелата за глотку, надавать ему пощечин, сорвать с него митру и швырнуть ее наземь, задушить его; и только мысль о том, что при первом же движении его схватят, удерживала Молэ на месте. Да и не только одного папского легата готов был он растерзать на части, но и молодого Мариньи, этого красавчика с золотыми побрякушками на голове, который со скучающим видом откинулся на спинку кресла. Но особенно ему хотелось добраться до трех своих отсутствующих врагов: до короля, хранителя печати и папы.

Бессильная ярость, что тяжелее железных цепей, застилала его взор, перед глазами плыл пурпуровый туман. И однако, должно же что-то произойти. Голова его кружилась, он боялся, что вот-вот рухнет на каменные плиты паперти. Он не замечал, что та же ярость охватила Шарнэ, что от рубца, пересекавшего багровый лоб приора Нормандии, вдруг отхлынула кровь.

А папский легат прервал на минуту свою напыщенную декламацию, опустил длинный пергаментный свиток, потом снова поднес его к глазам. Он старался продлить столь редкостный спектакль. Чтение обвинительного заключения было закончено, и легат приступил к чтению приговора.

– ...Принимая во внимание, что обвиняемые признали и подтвердили свою вину, суд постановляет приговорить их к пребыванию меж четырех стен, дабы могли они искупить свои прегрешения слезами раскаяния. *In nomine patris...*¹

Чтение закончилось. Легат медлил сесть на место, он, стоя, свернул пергаментный свиток и вручил его писцу.

Первое мгновение толпа недоуменно безмолвствовала. Из столь длинного перечня преступлений естественно вытекала смертная казнь, и приговор к «пребыванию меж четырех стен» – другими словами, к бессрочному заключению в темнице, в цепях, на хлебе и воде – поразил всех своим милосердием.

Филипп Красивый правильно рассчитал удар. Общественное мнение, огорошенное таким приговором, примет его как должное, примет как нечто будничное: развязку трагедии, которая будоражила страну целых семь лет. Первый легат и молодой архиепископ Санский обменялись еле приметной понимающей улыбкой.

– Братья мои, братья мои, – заикаясь бормотал брат досмотрщик, – так ли я расслышал? Значит, нас не убьют! Значит, нас помиловали!

Глаза его наполнились слезами; чудовищно распухшие руки тряслись, беззубый рот искривился, словно перед взрывом безудержного смеха.

Зрелище этой неправдоподобно страшной радости вывело толпу из оцепенения. С минуту Жак де Молэ смотрел на полубезумное лицо брата досмотрщика и думал, что некогда этот человек был отважен духом и телом.

И вдруг с вершины лестницы прогремел громовой голос:

– Протестую!

И так мощны были его раскаты, что в первое мгновение никто не поверил, что вырвался этот крик из груди Великого магистра.

– Протестую против несправедливого приговора и утверждаю, что все преступления, приписываемые нам, вымышлены от начала до конца! – кричал Жак де Молэ.

Казалось, вся толпа разом глубоко вздохнула. Судьи заволновались, не зная, что делать. Кардиналы растерянно переглядывались. Никто не ожидал такого конца. Жан де Мариньи вскочил с кресла. Куда девался его скучающий вид, лицо его побледнело как полотно, он выпрямился и дрожал от гнева.

– Лжете! – прокричал он. – Вы сами признались перед комиссиями.

¹ Во имя отца... (лат.).

Лучники, не дожидаясь приказа, сдвинули ряды.

– Я виновен лишь в одном, что не устоял против ваших посулов, угроз и пыток. Утверждаю перед лицом господа бога, который внемлет нам, что орден, чьим Великим магистром я являюсь, ни в чем не повинен.

И казалось, господь бог действительно внял Великому магистру, ибо голос его, проникая под своды собора, отражался от стен его, эхом вырывался наружу, будто кто-то незримо присутствующий в церковном приделе повторял слова Жака де Молэ нечеловечески мощным голосом.

– Вы признались в содомском грехе! – кричал Жан де Мариньи.

– Признался под пыткой, – отвечал Молэ.

– ...под пыткой, – повторял голос, исходивший, казалось, из самого алтаря.

– Вы признались, что проповедовали ересь!

– Признался под пыткой!

– ...под пыткой, – эхом отозвалось из алтаря.

– Я отрицаю все! – крикнул Великий магистр.

– ...все, – прогремели своды собора.

И вдруг раздался новый голос. Это заговорил Жоффруа де Шарнэ, приор Нормандии, который тоже обрушился на архиепископа Санского.

– Вы воспользовались нашей слабостью, – сказал он. – Мы пали жертвой вашего сговора, ваших ложных посулов. Нас погубили ваша ненависть и ваши обвинения! Но и я в свой черед свидетельствую перед лицом господа моего: мы невиновны, и те, кто утверждает противное, свершает грех срамословия.

Поднялся невообразимый шум. Монахи, толпившиеся позади судилища, завопили во всю глотку:

– Еретики! На костер их! На костер еретиков!

Но крик потонул в общем гуле. Движимая чувством сострадания, которое так естественно охватывает народ при виде беззащитного, несчастного, но смелого человека, почти вся толпа приняла сторону тамплиеров.

Судьям грозили кулаками. На площади завязались драки. Из окон соседних домов доносились оскорбительные выкрики.

По приказу Алэна де Парейля часть лучников построилась цепью и, взявшись за руки, старалась удержать поток людей, грозивший затопить всю паперть и лестницу. Другая половина лучников, выставив пики, преградила путь толпе.

Королевские пристава, вооруженные жезлами с лилией на конце, раздавали удары направо и налево. В суматохе опрокинули клетки с курами, и птицы жалобно кудахтали под ногами бегущих.

Судьи в страхе вскочили с мест. Жан де Мариньи отвел в сторону прево города Парижа, чтобы посоветоваться с ним о происходившем.

– Принимайте любое решение, монсеньор, любое решение, – твердил прево, – только не оставляйте их здесь. Нас всех сметут. Вы не знаете, каковы парижане в гневе.

Жан де Мариньи простер руку, поднял свой епископский посох, желая показать, что хочет говорить. Но никто его не слушал. Со всех сторон неслась по его адресу оскорбительная брань.

– Мучитель! Лжеепископ! Господь тебя еще покарает!

– Говорите же, монсеньор, говорите, – торопил его прево.

Прево трясся за свое положение и за свою шкуру: в его памяти еще свежи были волнения 1306 года, когда парижане разгромили жилище его предшественника прево Барбе.

– Двое преступников вторично совершили преступление, вторично впали в ересь, – кричал архиепископ, тщетно напрягая свои голосовые связки. – Они усомнились в справедливости правосудия, церковь отвергает их и предает их в руки королевского суда.

Слова его потонули в вое толпы. Потом все судилище в полном составе, как стая испуганных цесарок, постепенно отступило под своды собора Парижской Богоматери, и церковные врата захлопнулись за ними.

По знаку прево Алэн де Парейль и группа лучников бросились к собору; подкатила повозка, в нее толкнули подсудимых, подгоняя их тупыми концами пик. Они подчинились насилию с величайшей покорностью. Великий магистр и приор Нормандии лишились последних сил, но в то же время испытывали облегчение. Наконец-то совесть их была спокойна. Оба их спутника так ничего и не поняли. Лучники шли впереди, прокладывая путь печальному кортежу, прево Плуабуш приказал стражникам спешно очистить площадь. Он метался в растерянности, не зная, на что решиться.

– Отвезите узников в Тампль, – крикнул прево Алэну де Парейлю, – я бегу сообщить королю.

Он велел четверем стражникам следовать за ним в качестве телохранителей.

Глава V

Маргарита Бургундская, королева Наварры

Тем временем Филипп д'Онэ добрался до Нельского отеля. Его попросили обождать в прихожей перед личными покоем королевы Наваррской.

Минуты тянулись бесконечно долго. Филипп пытался найти объяснение столь длительному ожиданию – вызвано оно какими-нибудь непредвиденными обстоятельствами или королеве просто нравится его мучить. Очень на нее похоже. Продержат час, а потом объявят, что королева не изволит, мол, его сегодня принять. Он был вне себя. Когда началась их связь, Маргарита обходилась с ним не так. А может быть, и так. Он уже не помнил теперь. Разве в те полные очарования дни, когда он очертя голову пустился на поиски приключений, сам не зная, где начинается любовь и где кончается тщеславие, разве не выстаивал он по пяти часов кряду, лишь бы увидеть свою госпожу, коснуться ее платья кончиками пальцев, услышать назначенное торопливым шепотом свидание.

Времена изменились. Те препятствия, что придают особую прелесть рождающейся любви, становятся тяжелой обузой для любви, уже насчитывающей за собой три долгих года, и нередко ее убивает как раз то, что вызвало на свет. Не быть ни на минуту уверенным во встрече, десятки раз слышать об отмене назначенного свидания, нести бремя придворных обязанностей, так часто мешающих встречам, терпеть причуды и капризы Маргариты – все это доводило Филиппа до отчаяния, и в гневе он клялся жестоко отомстить коварной.

А Маргариту, казалось, такое положение вполне устраивало. Она вкушала двойную усладу – обманывать мужа и терзать любовника. Недаром принадлежала она к той породе женщин, которые испытывают влечение к мужчине, лишь видя, как он страдает по их вине, пока сами первые не пресытятся зрелищем этих страданий.

Каждый день Филипп твердил себе, что настоящая любовь не может удовлетворяться случайными встречами, каждый день давал себе слово завтра же порвать с мучительницей.

Но он был слаб, малодушен, а главное, покорен бесповоротно. Подобно игроку, которого затягивает поставленная ставка, Филиппа держали в заколдованном кругу его былые мечты, его напрасные подарки, растраченное даром время, его ушедшее счастье. У него не хватало мужества встать из-за стола и твердо заявить: «Я и так уже проигрался в пух».

И вот он стоит в прихожей, прислонясь к косяку окна, и ждет, – ждет, когда его наконец соблаговолит впустить. Чтобы обмануть нетерпение, он глядел во двор, где суетились

конюхи, собираясь проводить лошадей по маленькой лужайке Пре-о-Клер, глядел, как распахиваются ворота, как слуги выносят мясные туши и корзины овощей.

Нельский отель состоял из двух отдельных строений: из самого отеля, построенного относительно недавно, и из башни, которую возвели при Филиппе-Августе под пару Луврской башне, украшавшей левый берег Сены еще в те времена, когда здесь проходил крепостной вал. Шесть лет назад Филипп Красивый купил и отель и башню у графа Амори де Нель и пожаловал ее в качестве резиденции своему старшему сыну, королю Наваррскому.

Сначала башня служила помещением для кордегардии и кладовой. Однако Маргарита приказала привести башню в порядок, чтобы иметь возможность – как заявила она – посидеть одной, поразмыслить, почитать молитвенник, полюбоваться мирным течением реки. Она утверждала, что ей просто необходимо одиночество, и Людовик Наваррский, зная сумасбродный нрав своей супруги, ничуть не удивился ее прихоти. На самом же деле ей требовалось надежное помещение, чтобы без помех принимать там красавца д'Онэ.

Обстоятельство это наполняло душу Филиппа непомерной гордыней. Ради него королева Наваррская велела превратить крепость в приют любви.

А потом, когда его старший брат Готье д'Онэ сделался любовником Бланки, башня стала служить тайным убежищем и для этой молодой четы. Найти благовидный предлог не составляло труда: что удивительного, если Бланка приходит с визитом к своей невестке? Маргарита охотно оказывала ей услуги подобного рода.

Но сейчас, когда Филипп глядел на огромную мрачную башню, каменной громадой возвышавшуюся над рекой, на ее островерхую крышу, узенькие продолговатые окна, он невольно спрашивал себя: а что, если и другие мужчины знали эти быстрые объятия, а может быть, и эти бурные ночи... Даже тот, кто полагал, что насквозь видит Маргариту, и тот подчас становился в тупик. А эти пять дней, в течение которых она не давала о себе знать, хотя ничто, казалось бы, не мешало свиданию, разве не были они еще одним лишним доказательством?..

Дверь распахнулась, и камеристка пригласила Филиппа следовать за ней. Грудь у него сжимало как тисками, губы пересохли, но он твердо решил на сей раз не дать себя провести. Когда они дошли до конца длинного коридора и камеристка исчезла, Филипп вошел в длинную низкую опочивальню, тесно заставленную мебелью, всю пропитанную резким ароматом, таким знакомым ароматом жасминовой эссенции, доставляемой купцами с Востока.

Филипп не сразу освоился в этой чересчур сильно натопленной и полутемной комнате. В огромном камине на груде багровых углей пылало целое дерево.

– Мадам... – проговорил Филипп.

Голос, идущий из глубины комнаты, немного хриплый, как бы спросонья, приказал:

– Приблизьтесь, мессир.

Неужели Маргарита была одна? Неужели она осмелилась принимать его в своей опочивальне, без посторонних свидетелей, когда король Наваррский мог находиться поблизости?

И тут же Филипп успокоился, хотя почувствовал горькое разочарование: само собой разумеется, королева Наваррская была не одна. Маргарита лежала в постели, а рядом с ней, полускрытая складками балдахина, сидела на низеньком табурете пожилая придворная дама и осторожно подстригала королеве ногти на ногах.

Филипп сделал шаг вперед и тоном опытного царедворца, противоречившим отчаянному выражению его лица, почтительно сказал, что графиня Пуатье прислала его справиться о здоровье королевы Наваррской, шлет ей поклон и посылает подарок.

Во время его речи Маргарита не пошевелилась, не сказала ни слова. Она сцепила на затылке пальцы своих прекрасных рук и, полuzакрыв глаза, слушала Филиппа.

Была она маленькая, черноволосая, со смугло-золотистой кожей. Говорили, что у нее самое прекрасное на свете тело, и она отлично знала это. Филипп не отрываясь смотрел на этот пухлый, чувственный рот, на этот точеный подбородок, на эту полуобнаженную грудь, на эти стройные округлые ноги, с которых придворная дама откинула одеяло.

– Положите подарок на стол, я сейчас посмотрю, – сказала Маргарита.

Она потянулась, зевнула, и Филипп успел разглядеть ее розовый язычок, нёбо и крохотные белые зубки; зевала Маргарита, как котенок.

Ни разу она не взглянула в сторону Филиппа. А он еле удерживался, чтобы не вспылить. Придворная дама исподтишка, но с любопытством наблюдала за ним, и Филипп подумал, что любое гневное движение выдаст его с головой. Этой придворной дамы он еще никогда не видел. Может быть, Маргарита лишь недавно взяла ее к себе?..

– Должен ли я, – начал, – отнести ответ графине...

– Ой, – вдруг вскрикнула Маргарита, садясь в постели. – Вы меня оцарапали, милочка.

Придворная дама пробормотала извинение. Тут только Маргарита в первый раз удостоила Филиппа взглядом. У нее были восхитительные глаза, темные, бархатистые, они умели ласкать вещи и людей.

– Передайте моей невестке Пуатье... – произнесла она.

Филипп сделал полшага вперед, желая укрыться от бдительного ока придворной дамы. Он раздраженно махнул рукой, и жест его означал: «Прогоните старуху». Но Маргарита, казалось, ничего не поняла: она улыбалась, но не Филиппу, она улыбалась, глядя пустыми глазами в угол комнаты.

– Нет, не надо, – продолжала она. – Я сейчас напишу ей записку и передам через вас.

Потом обратилась к придворной даме:

– Теперь хорошо. Пора одеваться. Подите приготовьте мне платье.

Старуха вышла в соседнюю комнату, но двери за собой не закрыла, и Филипп снова поймал ее взгляд, устремленный прямо на него.

Маргарита встала с постели, прошла мимо Филиппа и, не разжимая губ, прошептала:

– Люблю!

– А почему мы не виделись пять дней? – спросил он тоже шепотом.

– Какая прелесть, – воскликнула Маргарита, вертя в руках шнур. – У Жанны бездна вкуса, и как я рада ее подарку.

– Почему ты не хотела меня видеть? – шепнул Филипп.

– Шнур прямо-таки создан для моего нового кошелька, – продолжала Маргарита громко. – Мессир д'Онэ, вы можете подождать, пока я напишу письмо?

Она присела к столу, взяла гусиное перо, клочок бумаги и сделала Филиппу знак приблизиться.

Крупными буквами, так что Филипп мог прочесть их из-за ее плеча, Маргарита написала: «Осторожность».

Потом, обратившись к придворной даме, которая возилась в соседней комнате, Маргарита крикнула:

– Мадам де Комменж, приведите ко мне мою дочку – я еще не поцеловала ее нынче утром.

Придворная дама удалилась.

– Лжешь, – сказал Филипп. – Осторожность прекрасный предлог, чтобы отделаться от старых любовников и обзавестись новыми.

Не то чтобы Маргарита лгала, но она не сказала и правды. Обычно случается так, что к концу связи, когда любовники начинают искать ссоры или устали, они обязательно выдают свою тайну свету, и свет впервые обнаруживает то, что уже приходит к концу. Возможно, что сама Маргарита случайно обмолвилась, возможно, что слух о гневных выходах

Филиппа просочился за пределы узкого кружка, состоявшего из Бланки и Жанны. В привратнике и камеристке, находящихся при ее покоях в башне, в двух этих слугах, привезенных еще из Бургундии, которых Маргарита запугивала и одновременно осыпала золотом, она была уверена, как в самой себе. Но как знать? Маргарита чувствовала, что ей не совсем верят. Король Наваррский не раз намекал на ее победы, и внешне безобидные шутки мужа звучали несколько принужденно. К тому же эта новая придворная дама, эта мадам де Комменж, которую ей навязали неделю назад, чтобы угодить рекомендовавшему ее графу Карлу Валуа, и которая повсюду шныряет в своем вдовьем покрывале... И Маргарита уже не так охотно, как прежде, шла на риск.

– Вы просто несносны! – воскликнула она. – Вас любят, а вы ворчите с утра до ночи.

– Ну что ж, нынче вечером мне не представится случая докучать вам, – ответил Филипп. – Совета сегодня не будет, король нам сам об этом сказал, и вы можете сколько душе угодно успокаивать подозрения вашего супруга.

Маргарита скорчила гримаску, и, будь Филипп не так ослеплен гневом, он понял бы, что по крайней мере с этой стороны ему не грозит опасность.

– А я решил пойти к девицам, – добавил он.

– Вот и прекрасно, – отозвалась Маргарита. – Вы мне расскажете потом, каковы они. Я с удовольствием послушаю.

В глазах ее вспыхнул огонек, кончиком языка она насмешливо облизала губы.

«Распутница, шлюха!» – яростно твердил про себя Филипп. Не знаешь, как к ней подступиться: ускользает, уходит, как вода из пригоршни.

Маргарита подошла к открытому ларцу, достала из него новый кошель, сплетенный из золотых нитей и закрывающийся на три огромных рубина, – этой вещи Филипп еще ни разу не видел.

Позавчера Маргарита получила кошель в дар от своей золовки Изабеллы Английской; с той же тайной оказией точно такие кошельки были вручены Жанне и Бланке. Изабелла просила своих невесток не болтать об этом подарке, ибо, писала английская королева, «супруг мой Эдуард зорко следит за моими тратами, и боюсь, как бы он не рассердился». Принцессы от души удивились столь непривычной любезности со стороны своей золовки. «У нее нелады с мужем, – решили они, – вот она и ищет сближения с нами».

– Чудесно подойдет, – продолжала Маргарита, пропуская шнурок сквозь кольца кошелька, и, повязав шнур вокруг талии, подошла полюбоваться своим отражением в большом оловянном зеркале.

– Откуда у тебя этот кошель? – спросил Филипп.

– Это...

Маргарита чуть было не сказала правду. Но, увидев его перекошенное ревностью лицо, не могла отказать себе в удовольствии помучить возлюбленного.

– Подарили, – отрезала она.

– Кто?

– Угадай.

– Людовик?

– Ну, мой муж на такую щедрость не способен.

– Тогда кто же?

– Угадай.

– Я хочу знать, я имею право знать, – не сдержавшись, воскликнул Филипп. – Подобную вещь может подарить только мужчина, мужчина богатый и притом влюбленный... думаю, что у него есть основания делать такие подарки.

Маргарита молча вертелась перед зеркалом, она прикладывала кошель то к правому боку, то к левому и наконец передвинула его на середину пояса.

– Это подарок Робера Артуа, – произнес Филипп.

– Ну, мессир, я никогда, если не ошибаюсь, не давала вам поводов подозревать меня в столь дурном вкусе, – возразила Маргарита. – Этот-то верзила, грубиян, от которого разит дичью...

Ни Маргарита, ни Филипп даже не представляли, насколько его слова были близки к истине и какую зловещую роль сыграл Робер Артуа в небывалой щедрости английской королевы.

– Значит, это Гоше де Шатийон, который волочится за вами, как, впрочем, и за всеми дамами? – начал Филипп.

Маргарита с задумчивым видом склонила набок голову.

– Вы имеете в виду коннетабля? – переспросила она. – Я не замечала, чтобы он мной интересовался. Но поскольку вы сами утверждаете... Что ж, спасибо, что вы навели меня на эту мысль...

– Все равно я узнаю...

– Перебрав весь французский двор.

Ей хотелось добавить: «Не забудьте также и английский двор», но в эту минуту в опочивальню вошла мадам де Комменж, осторожно ведя перед собой малютку. Малолетняя принцесса Жанна медленно переступала ножками, путаясь в длинном бархатном платье, расшитом жемчугом. От матери она унаследовала только выпуклый, круглый, упрямый лоб. У девочки были белокурые волосики, тоненький носик и длинные ресницы, красиво затенявшие светлые глаза. Она могла быть и дочерью короля Наваррского, и дочерью Филиппа д'Онэ. Но и тут Филипп никак не мог добиться у Маргариты прямого ответа, ибо королева Наваррская была слишком хитра, чтобы дать любовнику козырь в таком щекотливом вопросе. Всякий раз, глядя на крошку Жанну, Филипп спрашивал себя: «А вдруг она моя дочь?» И он уже видел, как ему придется когда-нибудь, почтительно склонившись, выслушивать приказания принцессы, которая, возможно, была его собственной дочерью и которая, возможно, взойдет разом на два престола. Ибо Людовик Наваррский, наследный принц Франции, и супруга его Маргарита не имели больше детей.

Маргарита подхватила на руки маленькую Жанну, поцеловала ее в лобик и, убедившись, что девочка хорошо выглядит, передала ее придворной даме со словами:

– Ну вот я ее и поцеловала, теперь можете ее увести.

Мадам де Комменж искоса взглянула на королеву, и Маргарита поняла, что придворная дама отлично знает, почему ее посылали за девочкой и почему ее тут же удаляют. «Необходимо поскорее избавиться от этой старухи», – подумала Маргарита.

В это мгновение в спальню вихрем ворвалась другая придворная дама и осведомилась, не здесь ли находится король Наваррский.

– Вы же знаете, что в этот час его надо искать не у меня, – заметила Маргарита.

– Его повсюду разыскивают, – сказала придворная дама. – Король требует его немедленно к себе. Во дворце сейчас состоится чрезвычайный Совет.

– А по какому поводу? – полюбопытствовала Маргарита.

– Кажется, мадам, по поводу тамплиеров, они отвергли приговор. У собора Парижской Богоматери волнуется народ, повсюду выставлена двойная стража.

Маргарита и Филипп переглянулись. Одна и та же мысль одновременно пришла им в голову, мысль, не имевшая ничего общего с государственными соображениями. Возможно, обстоятельства сложатся так, что Людовику Наваррскому придется провести в Совете почти всю ночь.

– Может статься, что нынешний день закончится не так, как предполагалось, – заметил Филипп.

Маргарита вскинула на него глаза, она решила, что достаточно помучила Филиппа. Он стоял перед ней с обычным своим почтительно-равнодушным видом, но взгляд его молил о счастье. Этот взгляд растрогал Маргариту. Она почувствовала, что любит его так же сильно, как в первые дни их связи.

– Возможно, вы правы, мессир, – бросила она.

Вдруг она поняла, что никто не любит и не будет любить ее сильнее и преданнее, чем Филипп.

Маргарита схватила клочок бумаги, на котором написала слово «осторожность», и бросила его в огонь.

– Я раздумала посылать записку графине Пуатье, – сказала она. – Позже пошлю другую: надеюсь, что смогу сообщить ей более приятные вести. Прощайте, мессир.

Тот Филипп, что вышел из Нельского отеля, ничуть не напоминал того Филиппа, который вошел сюда несколько часов назад. Одного обнадеживающего слова оказалось достаточно, чтобы он снова поверил своей подруге, поверил в самого себя, поверил в жизнь, и серенькое мартовское небо заблестало для него лучами солнца.

«Она меня по-прежнему любит, я несправедлив к ней», – думал он.

Проходя через помещение кордегардии, Филипп нос к носу столкнулся с графом Артуа. Со стороны могло показаться, что великан выслеживает Филиппа, как охотник добычу. Но это было не так. На сей раз Артуа заботило совсем иное.

– Его высочество король Наваррский у себя? – спросил он Филиппа.

– Я слышал, что его ищут для участия в Королевском совете, – ответил Филипп.

– Вас послали известить его?

– Да, – не подумав, ответил Филипп.

И тут же он упрекнул себя за эту бессмысленную ложь, которую ничего не стоило раскрыть.

– И я ищу его с той же целью, – объяснил Артуа. – Его высочество Валуа желает переговорить с ним до начала Совета.

Они расстались. Но эта случайная встреча насторожила гиганта Робера. «Уж не он ли?» – вдруг подумал Артуа, пересекая двор. Час назад он видел Филиппа в Гостинной галерее вместе с Жанной и Бланкой. А теперь встретил его у порога опочивальни Маргариты. «Какую роль играет этот щеголь – роль вестника или состоит любовником при всех троих? Так или иначе, в скором времени я все узнаю».

Робер Артуа не потерял зря времени после своего возвращения из Англии. Каждый вечер он виделся с мадам де Комменж, поступившей в услужение к Маргарите, и из ее рук получал самые подробные сведения. А у Нельской башни поставил верного человека и поручил ему следить в ночные часы за всеми входами и выходами. Силки были расставлены по всем правилам. Если этот павлин попадется, пусть пеняет на себя!

Глава VI

Как происходил королевский совет

Когда прево города Парижа, запыхавшись, прибежал к королю, он застал своего повелителя в добром расположении духа. Филипп Красивый играл с тремя прекрасными борзыми, которых ему только что прислали в сопровождении следующего послания:

«Сир,
племянник мой, в отчаянии от предрезостного своего проступка, сообщил мне, что эти три борзые, коих он вел на сворке, осмелились толкнуть Вас. Сколь бы ни были недостойны эти твари быть преподнесенными Вам в дар, но еще менее достоин я сам владеть ими,

*после того как коснулись они столь высокой и могущественной особы. Позавчера их прислали мне прямо из Англии. Молю Вас принять их, дабы могли они послужить свидетельством низжайшей преданности Вашего покорного слуги
Спинелло Толомеи».*

– Ну и ловкий же человек этот Толомеи, – усмехнулся Филипп Красивый.

Он, который отказывался от любых приносимых даров, не смог устоять перед искушением и взял борзых. Псарня французского короля по справедливости считалась лучшей в мире, и Толомеи польстил единственной королевской страсти, прислав во дворец таких изумительных по красоте и статьям псов.

Пока прево докладывал о событиях, разыгравшихся у собора Парижской Богоматери, король ласкал своих новых питомцев, подымал им брылы, чтобы проверить крепость их белых огромных клыков, осматривал их черные пасти, ощупывал их могучую грудь.

Между королем и животными, и особенно собаками, сразу же устанавливалось тайное и молчаливое согласие. В отличие от людей собаки ничуть его не боялись. И теперь самая крупная из только что введенных в королевские покои борзых, положив морду на колени Филиппа, глядела не отрываясь на нового своего господина.

– Бувилль! – крикнул Филипп Красивый.

Юг де Бувилль, первый королевский камергер, мужчина лет пятидесяти, немедленно явился на зов; волосы его поседели неравномерно – белые пряди самым странным образом перемешались с черными, и поэтому он казался пегим.

– Бувилль, немедленно соберите Малый совет! – приказал Филипп.

Кивком головы отпустив прево и дав ему предварительно понять, что, ежели в Париже произойдут беспорядки, он, прево, поплатится за это своей головой, король остался один со своими псами и своими мыслями.

Самую крупную борзую, которая, видимо, уже успела привязаться к нему, Филипп решил назвать Ломбардцем – в честь ее бывшего владельца, итальянского банкира.

На сей раз Малый совет собрался не как обычно в зале, где творили суд, – в этой просторной зале легко помещалась сотня людей, и там происходили заседания Большого совета. Присутствующие сошлись сегодня в небольшую приемную; в камине жарко пылал огонь.

Вокруг длинного стола уже разместились члены Малого совета, долженствующего решить участь тамплиеров. Король восседал на верхнем конце стола; опершись о подлокотник кресла, он задумчиво подпер подбородок ладонью. По правую его руку поместились Ангерран де Мариньи, коадьютор и правитель королевства, Ногарэ, хранитель печати, Рауль де Прель, глава Верховного судилища, и два легиста, исполнявшие обязанности писцов; по левую руку короля сидел его старший сын Людовик, король Наваррский, которого наконец удалось разыскать, и Юг де Бувилль, первый королевский камергер. Только два места оставались незанятыми: одно, предназначавшееся для графа Пуатье, посланного в провинцию по делам королевства, и другое – для принца Карла, младшего сына Филиппа, который еще с утра уехал на охоту и которого так и не сумели найти. Не явился также и его высочество Валуа: за ним уже послали гонца, но он медлил с приходом, ибо имел обыкновение перед каждым Советом придумывать новые козни. Король решил приступить к делу, не дожидаясь Валуа.

Первым заговорил Ангерран де Мариньи. Сиятельный этот вельможа, на шесть лет старше короля, ниже его ростом, но обладавший столь же внушительной осанкой, был отнюдь не благородного происхождения. Этот нормандский горожанин, прежде чем стать сиром де Мариньи, назывался просто Ангерраном Ле Портье; его блистательная карьера вызывала всеобщую зависть, равно как и титул коадьютора, изобретенный специ-

ально для него, благодаря которому он стал alter ego² короля. Пятидесятидвухлетний Ангерран де Мариньи, грузный мужчина с массивной нижней челюстью и нечистой кожей, приобрел огромное состояние, на которое и жил с истинно королевской роскошью. Он слыл первым ритором Франции и как государственный ум был намного выше своего времени.

В нескольких словах он набросал перед присутствующими полную картину происшествия на паперти собора Парижской Богоматери, пользуясь сведениями, доставленными его младшим братом архиепископом Санским.

– Великий магистр и приор Нормандии переданы церковной комиссией в руки вашего величества, – заключил он. – За вами право принимать любые решения. Будем надеяться, что все идет к лучшему...

Не успел он договорить начатой фразы, как распахнулась дверь. В приемную бурно ворвался его высочество Валуа, брат короля и император Константинопольский. Не удосужившись даже спросить, о чем идет речь, он закричал еще с порога:

– Что я слышу, брат мой? Мессир Ле Портье де Мариньи (слова «Ле Портье» он произнес с особым ударением) считает, что все идет хорошо? Что ж, брат мой, ваши советники довольствуются малым. Хотел бы я знать, когда же, по их мнению, будет плохо?

Казалось, что с приходом Карла Валуа даже сам воздух в приемной пришел в движение. Когда он шагал, вокруг него зарождались вихри. Он был на два года моложе Филиппа, ничем на него не походил, и ледяное спокойствие старшего брата еще резче подчеркивало суетливость младшего.

Порядком облысевший, с толстым носом, с красными прожилками на пухлых щеках – следствие суровой походной жизни и излишнего чревоугодия, – он горделиво носил свое округлое брюшко, одевался с чисто восточной пышностью, которая показалась бы неуместной у любого другого француза. Рожденный в столь непосредственной близости к французскому престолу, этот принц-смутьян никак не мог примириться с мыслью, что трон ускользнул от него, и исколесил весь белый свет в поисках свободного престола. Сначала он носил титул короля Арагонского, но вскоре отказался от этого королевства и всеми правдами и неправдами старался добыть корону императора Священной Римской империи, однако на выборах провалился. По второму браку с Катрин де Куртенэ он получил титул императора Константинопольского, но в Византии правил настоящий император Константинопольский – Андроник II Палеолог. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Свою славу Карл заслужил на поле брани, ибо был искусный военачальник – он участвовал в молниеносном походе в Гиень в девяносто седьмом году, во время Тосканской кампании поддерживал гвельфов против гибеллинов, опустошил Флоренцию и выслал за пределы Республики некоего рифмоплета, писавшего стихи политического содержания и именовавшегося Данте, за что предшественник нынешнего папы Климента дал ему титул графа Романьи. Валуа, как и король, имел собственный двор и своего собственного канцлера; он лютой ненавистью ненавидел Ангеррана де Мариньи, ненавидел за то, что тот поднялся из низов; за его коадьюторское достоинство, за статую, воздвигнутую ему среди статуй коронованных особ, украшавших Гостиную галерею, за его политику, враждебную крупным феодалам, – словом, за все. Он, Валуа, внук Людовика Святого, не мог перенести мысли, что королевством управляет человек, вышедший из народа. На Малый совет он явился весь в голубом, от головы до пят, и от пят до головы был весь расшит золотом.

– Четыре елe живых старца, – продолжал он, – по поводу которых нас уверяли, что судьба их решена... увы, как решена!.. подрывают королевский авторитет – и все идет к лучшему! Народ плюет на церковный суд... Впрочем, хорош суд! Но как бы то ни было,

² Второе «я» (лат.).

ведь это же церковный суд!.. И все идет к лучшему! Толпа требует смерти, но не их смерти, брат мой, – и все идет к лучшему! Что ж, пусть будет так, брат мой, пусть все идет к лучшему.

Он воздел к небесам свои красивые, унизанные перстнями руки и уселся на нижнем конце стола, как бы желая лишний раз показать, что если он не имеет права сидеть одесную короля, то сидеть напротив короля никто ему не запретит.

Ангерран де Мариньи по-прежнему стоял у стола. По губам его пробежала чуть заметная насмешливая улыбка.

– Его высочество Валуа, должно быть, плохо осведомлен, – спокойно произнес он. – Из четырех старцев, о которых он говорил, лишь двое отвергли приговор. А что касается народа, то, судя по имеющимся у меня сведениям, мнения там разделились.

– Разделились! – воскликнул Карл Валуа. – Кому это интересно? Кому надо, чтобы народ вообще имел свои мнения? Только вам, мессир де Мариньи, и по вполне понятным причинам. Полубуйтесь, какие плоды принесла ваша прелестная выдумка – собирать горожан, мужичье, деревенщину, для того чтобы они, видите ли, одобряли решения короля! Что же удивительного, если народ вообразил, что ему все дозволено?

В каждую эпоху и в каждой стране всегда имеются две партии: партия реакции и партия прогресса. На Малом королевском совете столкнулись два этих течения. Карл Валуа считал себя прирожденным главой крупных вассалов. Он олицетворял собой незыблемость прошлого, и политическое его евангелие держалось на полудюжине принципов, кои он защищал с пеной у рта: право сеньоров вести между собой войны, право ленных властителей чеканить на своих землях собственную монету, возвращение к моральному кодексу рыцарства, безоговорочное подчинение папскому престолу как высшей третьей власти, безоговорочная поддержка всех социальных институтов феодализма. Все эти установления создались и вылились в определенную форму в течение предыдущих веков, но часть их Филипп Красивый по совету Мариньи упразднил, а против остальных вел упорную борьбу.

Ангерран де Мариньи представлял партию прогресса. Основные его идеи сводились к централизации власти, к унификации денег, к созданию единой администрации, к независимости светской власти от церкви, к обеспечению мира на границах государства, достигаемого возведением крепостей с постоянным гарнизоном, и мира внутри государства, достигаемого полным подчинением королевской власти; наконец – процветание ремесел, расширение торговых связей, безопасность торговых путей; эти его замыслы носили название «новые порядки». Однако медаль имела обратную сторону: содержание многочисленной стражи обходилось дорого, и столь же дорого обходилась постройка крепостей.

Отринутый феодальной партией, Ангерран постарался дать королю новую опору в лице сословия, которое одновременно со своим усилением все яснее осознавало свою роль, – сословия богатых горожан. Пользуясь любым благоприятным случаем – отменой налогов или же делом тамплиеров, он десятки раз созывал парижских горожан в королевском дворце в Ситэ. Точно так же действовал он и в провинциальных городах. Перед глазами он имел пример Англии, где уже функционировала палата общин.

Пока еще не могло быть и речи о том, чтобы малые ассамблеи французских горожан осмелились обсуждать королевские начинания: им лишь сообщались причины, по которым король принимал то или иное решение, и предоставлялось право безоговорочно таковые одобрить.

Хотя Валуа был отъявленным смутьяном, никто бы не упрекнул его в недостатке ума. Он пользовался любым предлогом, лишь бы опорочить действия Мариньи. Тайная борьба, шедшая до поры до времени подспудно, вдруг несколько месяцев назад стала явной, и ссора на Малом королевском совете, состоявшемся 18 марта, была лишь одним из ее эпизодов.

Яростный спор разгорелся с новой силой, и взаимные оскорбления звучали как пощечины.

– Если бы высокородные бароны, среди коих самым знатным являетесь вы, ваше высочество, – начал Мариньи, – если бы они подчинялись королевским ордонам, нам не было бы нужды опираться на народ.

– Нечего сказать, прекрасная опора! – воскликнул Валуа. – Неужели волнения тысяча триста шестого года, когда король, да и вы сами, вынуждены были укрыться в Тампле, за стенами которого бунтовал Париж, неужели даже это не послужило вам хорошим уроком? Предсказываю вам: если так пойдет дальше, горожане будут править сами, не нуждаясь больше в короле, и ордонам будут исходить не от кого другого, как от ваших обожаемых ассамблей.

В продолжение всего этого спора король упорно молчал, он сидел, подперев подбородок рукой, неподвижно глядя перед собой широко открытыми глазами. Король никогда не моргал, и свойство это делало его взгляд столь странным, что каждый невольно испытывал страх.

Мариньи повернулся к королю, всем своим видом приглашая его вмешаться и положить конец бесполезному спору.

Приподняв голову, Филипп сказал:

– Брат мой, ведь сегодня мы обсуждаем совсем другой вопрос – вопрос о тамплиерах.

– Пусть будет так, – согласился Валуа, хлопнув кулаком по столу. – Займемся тамплиерами.

– Ногарэ, – вполголоса произнес король.

Хранитель печати поднялся с места. С первых же минут он стал задыхаться от ярости, которая ждала только подходящего случая, дабы излиться наружу. Фанатичный защитник общественного блага и государственных интересов, он считал дело тамплиеров *своим* личным делом и вносил в него ту страсть, которая не знает ни сна, ни отдыха, ни границ. Впрочем, высоким своим положением Ногарэ был обязан именно этому процессу, ибо во время трагического заседания Совета в 1307 году тогдашний королевский хранитель печати архиепископ Нарбоннский отказался скрепить ордер на арест тамплиеров, и король, взяв печать из недостойных рук, вручил ее тут же Ногарэ. Костистый, черномазый, с вытянутым длинным лицом и близко посаженными глазами, он все время нервно перебирал пуговицы полукафтана или же сосредоточенно грыз свои плоские ногти. Он был страстен, суров, жесток, как коса в руках смерти.

– Сир, произошло чудовищное, ужасное событие, о котором страшно подумать, страшно даже слышать, – заговорил он скороговоркой, но приподнятым тоном, – оно свидетельствует о том, что всякое милосердие, всякое снисхождение к этим пособникам дьявола есть слабость, и слабость эта обращается против нас.

– Бесспорно, что милосердие, к которому нас призывали вы, брат мой, и о котором просила меня в своем послании моя дочь, королева английская, милосердие это отнюдь не принесло добрых плодов, – сказал Филипп, поворачиваясь к Валуа. – Продолжайте, Ногарэ.

– Этим смрадным псам оставили жизнь, коей они нимало не заслуживают. И вместо того чтобы благословлять судей, они воспользовались их милосердием, дабы поносить Святую церковь и короля! Тамплиеры – завзятые еретики...

– Были, – бросил Карл Валуа.

– Что вы изволили сказать, ваше высочество? – нетерпеливо переспросил Ногарэ.

– Я сказал, «были», мессир, ибо, если память мне не изменяет, из пятнадцати тысяч тамплиеров, насчитывавшихся во Франции, в ваших руках имеется всего лишь четверо... правда, все четверо достаточно докучливые субъекты, тут я с вами вполне согласен: подумать только, после семи лет следствия они еще осмеливаются утверждать, что невиновны! Помните, что прежде, мессир Ногарэ, вы были проворнее в исполнении своих обязанностей, ведь вы умели когда-то с помощью одной оплеухи убирать пап с престола.

Ногарэ задрожал, и его лицо, окаймленное серебристо-белой бородой, угрожающе потемнело. Это он низложил папу Бонифация VIII, восьмидесятишестилетнего старца, дал ему пощечину и стащил за бороду с папского престола. Враги канцлера пользовались любым случаем, чтобы напомнить ему об этом эпизоде. За излишний пыл Ногарэ был отлучен от церкви. Филиппу Красивому пришлось употребить все свои влияние, чтобы заставить папу Клементя V снять отлучение.

— Нам хорошо известно, ваше высочество, — язвительно отпарировал Ногарэ, — что вы всегда поддерживали тамплиеров. Нет ни малейшего сомнения в том, что вы рассчитывали на их войско, дабы отвоевать, пусть ценой разорения Франции, Константинопольский престол, который, увы, лишь химера и на который вам до сих пор не удалось сесть.

Отплатив оскорблением за оскорбление, Ногарэ успокоился, и буро-красное лицо его приняло обычный цвет.

— Проклятье! — завопил Валуа, вскакивая с кресла, которое опрокинулось на пол.

В ответ на раздавшийся грохот из-под стола вдруг послышался собачий лай. Все присутствующие вздрогнули от неожиданности, кроме Филиппа Красивого и Людовика Наваррского, который оглушительно расхохотался. Это залаяла та самая борзая, которую Филипп Красивый привел с собой; пес еще не успел привыкнуть к таким шумным сценам.

— Людовик, да помолчите вы, — сказал Филипп Красивый, устремив на сына ледяной взгляд. Потом, прищелкнув пальцами, позвал: — Ломбардец, ко мне! — и, ласково погладив собаку, прижал ее морду к коленям.

Людовик Наваррский, уже в те времена прозванный Сварливым, человек неуживчивый и скудный разумом, потупил голову, стараясь подавить приступ неудержимого и неуместного смеха. Людовику исполнилось двадцать пять лет, но по умственному развитию он ничем не отличался от семнадцатилетнего юноши. От отца он унаследовал светлые глаза, но бегающий взгляд Людовика выражал слабость; волосы его в отличие от отцовских кудрей были какого-то тусклого цвета.

— Сир, — начал Карл Валуа, когда Бувилль, первый королевский камергер, пододвинул ему кресло, — государь, брат мой, бог свидетель, что я радею лишь о ваших интересах и вашей славе.

Филипп Красивый медленно повернул глаза к брату, и Карл Валуа вдруг почувствовал, что его оставляет обычная самоуверенность. Тем не менее он продолжал:

— Единственно о вас, брат мой, пекусь я, когда вижу, как с умыслом разрушают то, что составляет силу королевства. Когда не будет больше ни ордена тамплиеров, ни рыцарства, как сможете вы предпринять крестовый поход, буде такой потребуется?

На вопрос Валуа ответил Мариньи.

— Под мудрым правлением нашего короля, — сказал он, — нам оказались не нужны крестовые походы как раз потому, что рыцарство хранило спокойствие, ваше высочество, и не было нужды посылать его в заморские страны, с тем чтобы рыцари могли там израсходовать свой пыл.

— А вера, мессир, христианская вера!

— Золото, отобранное у тамплиеров, обогатило государственную казну, ваше высочество, обогатило куда больше, чем все те торговые и коммерческие операции, что велись под прикрытием священных хоругвей, а для беспрепятственного движения товаров не нужны крестовые походы.

— Мессир, вы говорите, как безбожник!

— Я говорю, ваше высочество, как верный слуга престола.

Король легонько пристукнул по столу ладонью.

— Брат мой, — снова обратился он к Карлу, — напоминаю вам, что сегодня речь идет о тамплиерах, и только о них... Прошу вашего совета на сей счет.

– Совета?.. Совета?.. – озадаченно повторил Валуа.

Когда речь шла о переустройстве Вселенной, откуда только брались у него слова, но ни разу еще он не высказал толкового мнения по тому или иному вопросу политики.

– Что ж, брат мой, пусть те, что так прекрасно провели дело тамплиеров (он кивнул на Мариньи и Ногарэ), пусть они и подскажут вам, как нужно его завершить... Я же...

И Карл Валуа повторил пресловутый жест Пилата, умывающего руки.

Хранитель печати и коадьютор обменялись быстрым взглядом.

– Ну а ваше мнение, Людовик? – спросил король сына.

При этом неожиданном вопросе Людовик Наваррский даже вздрогнул; ответил он не сразу, во-первых, потому, что никакого мнения у него не имелось, а во-вторых, потому, что усердно сосал медовую конфетку и она, как на грех, завязла у него в зубах.

– А что, если передать дело тамплиеров папе? – выдавил он из себя наконец.

– Замолчите, Людовик, – оборвал его король, пожимая плечами.

Мариньи сокрушенно возвел глаза к небу.

Передать Великого магистра в руки папы значило начинать все с самого начала, все поставить под вопрос – и суть процесса, и способы его ведения, отказаться от всех решений, с таким трудом вырванных у соборов, зачеркнуть семь лет усилий и открыть путь новым распрям.

«И подумать только, что мой трон наследует вот такой глупец, – сказал себе Филипп Красивый, пристально глядя на сына. – Будем же надеяться, что к тому времени он поумнеет!»

В стекла, схваченные свинцовым переплетом, надсадно барабанил мартовский дождь.

– Бувилль, – окликнул Филипп камергера.

Юг де Бувилль решил, что король спрашивает его мнения. Первый королевский камергер был сама преданность и верность, само повиновение, сама услужливость, но природа обделила его способностью мыслить самостоятельно. И прежде всего он старался угадать, какой ответ будет угоден его величеству.

– Я думаю, сир, – забормотал он, – я думаю...

– Велите принести свечи, – прервал его король, – ничего не видно. Ваше мнение, Ногарэ?

– Те, кто впал в ересь, заслуживают кары, применяемой к еретикам, и притом безотлагательной, – твердо произнес хранитель печати.

– Ну а народ? – спросил Филипп Красивый, переводя взор на Мариньи.

– Народное волнение уляжется, коль скоро те, кто является причиной беспорядков, перестанут существовать, – отозвался коадьютор.

Карл Валуа решил сделать последнюю попытку.

– Брат мой, – начал он, – осмелюсь напомнить вам, что Великий магистр причислен к рангу царствующих особ, и лишить его головы – значит посягать на тот самый принцип, который охраняет королевские головы...

Но под ледяным взглядом Филиппа начатая фраза застряла у него в горле.

Наступила минута тягостного молчания, затем Филипп Красивый заговорил:

– Жак де Молэ и Жоффруа де Шарнэ нынче вечером будут сожжены на Еврейском острове против дворца. Они взбунтовались публично, следовательно, и кара будет публичной. Я все сказал.

Он поднялся, и присутствующие последовали его примеру.

– Вы составите приговор, мессир де Прель. Предлагаю вам, мессир, лично присутствовать при казни и нашему сыну Карлу тоже быть там. А предупредите его вы, сын мой, – закончил он, взглянув на Людовика Наваррского.

Потом он позвал:

– Ломбардец!

И вышел, сопровождаемый собакой.

На этом Совете, участие в котором принимали два короля, один император, один вице-король, были осуждены на смерть два человека. Но ни на минуту никто не подумал, что речь идет о двух человеческих жизнях – речь шла лишь о двух принципах.

– Ну, племянник, – сказал Карл Валуа, обращаясь к Людовику Наваррскому, – сегодня мы с вами присутствовали при похоронах рыцарства.

Глава VII

Башня любви

Спускалась ночь. Слабый ветерок далеко разносил запахи влажной земли, тины и весенних хмельных соков, гнал по беззвездному небу большие черные тучи.

Лодка, отчалившая от берега у Луврской башни, медленно скользила по Сене, по ее блестящим, словно старая, хорошо начищенная кираса, водам.

На корме сидели два пассажира, старательно кутавшие лица в высокие воротники длинных плащей.

– Ну и погода нынче, – начал перевозчик, неторопливо орудуя веслами. – Проснешься утром – туману, туману, в двух шагах не видать. А как только десять пробьет, пожалуйста – солнышко. Говорят: весна идет. Вернее сказать, что весь пост дожди будут лить. А сейчас, гляди, ветер поднялся, и еще покрепчает, это поверьте моему слову. Ну и погода!

– Поторопитесь, почтенный, – сказал один из пассажиров.

– И так уж стараюсь. А все потому, что стар становлюсь: шутка ли – пятьдесят три года на архангела Михаила стукнет! Куда же мне с вами сравняться, молодые мои господа, – ответил перевозчик.

Этот одетый в лохмотья старик даже с каким-то удовольствием сетовал на свою горькую судьбину.

– Значит, к Нельской башне держать путь? – спросил он. – А место-то там для причала найдется?

– Да, – ответил все тот же пассажир.

– Я потому спрашиваю, что мало кто туда ездит, безлюдное местечко.

Слева было видно, как на Еврейском острове перебегают огоньки, а чуть подальше светились окна дворца. Множество лодок устремлялось в том направлении.

– А разве вы, господа мои хорошие, не желаете полюбоваться, как тамплиеров припекать будут? – не унимался гребец. – Говорят, сам король туда пожелует с сыновьями. Верно или нет?

– Говорят, – отозвался пассажир.

– А принцессы будут, нет ли?

– Не знаю... Конечно, будут, – ответил пассажир, сердито отвернувшись и давая тем знать, что разговор окончен.

Потом, нагнувшись к своему спутнику, он процедил сквозь зубы:

– Не нравится мне этот старик, уж слишком болтлив.

Но тот равнодушно пожал плечами. Потом, помолчав немного, шепнул:

– А кто тебе дал знать?

– Как обычно, Жанна.

– Милая графиня Жанна, как мы ей обязаны.

С каждым взмахом весел все быстрее приближалась Нельская башня, вздымавшая к темным небесам свой темный силуэт.

Тот из спутников, что был выше ростом и вступил в разговор вторым, положил руку на плечо соседу.

– Готье, – прошептал он, – нынче вечером я так счастлив. А ты?

– И я, Филипп, тоже.

Так беседовали меж собой братья д'Онэ, Готье и Филипп, спеша на свидание с Бланкой и Маргаритой, которые, узнав, что их супругов задержит до ночи король, тотчас же назначили своим возлюбленным свидание. И, как обычно, посредницей между юными парами была графиня Пуатье.

Филипп д'Онэ с трудом сдерживал рвущиеся через край радость и нетерпение. Все утренние горести были забыты, все подозрения вдруг показались нелепыми и пустыми. Ведь сама Маргарита позвала его; через несколько минут он будет держать ее в объятиях, ради него она подвергает себя опасности, и ни один мужчина на свете, клялся он про себя, не сравнится с ним в нежности, в пылкости, в беспечной веселости.

Лодка пристала к откосу, на котором высилась огромная стена башни. Весь откос был покрыт слоем жирной тины, принесенной недавним паводком.

Лодочник помог братьям выйти на берег.

– Значит, решено, почтенный, – сказал Готье, – ты будешь нас здесь ждать, только далеко не отплывай и смотри, чтобы тебя не увидели.

– Если прикажете, мессир, то хоть всю свою жизнь буду вас поджидать, только бы денежки шли.

– Хватит и половины ночи, – ответил Готье.

Он швырнул старику мелкую серебряную монету – сумму, в десять раз превышающую обычную плату за перевоз, и столько же пообещал дать за обратный путь. Старик низко поклонился.

Стараясь не поскользнуться, не забрызгаться, братья д'Онэ благополучно добрались до потайной двери, находившейся, к счастью, неподалеку от берега, и постучали условным стуком. Дверь бесшумно распахнулась.

– Добрый вечер, мессир, – приветствовала их камеристка Маргариты, та самая, которую королева Наваррская привезла с собой из Бургундии.

В руке она держала огарок свечи и, впустив гостей в прихожую и снова заложив засов, пригласила их следовать за собой по винтовой лестнице.

Огромные покои, помещавшиеся во втором этаже башни, куда ввела братьев д'Онэ поверенная Маргариты, окутывал полумрак, и только в камине с навесом жарко пылали поленья, разливая вокруг дрожащий свет. Однако отблески пламени не могли побороть мглу, которая притаилась под куполообразным потолком, опиравшимся на двенадцать стрельчатых арок.

И здесь, как в опочивальне Маргариты, безраздельно царил запах жасминовой эссенции: он исходил от затканых золотом тканей, драпировавших стены, от ковров, от ягуаровых шкур, накинутах на низкие, по восточной моде, кровати.

Принцессы еще не сошли вниз. Камеристка пошла предупредить их.

Братья д'Онэ сняли плащи, приблизились к камину, и оба одинаковым жестом машинально протянули руки к пылающему огню.

Готье д'Онэ, старше Филиппа двумя годами, был бы копией брата, если бы не более низкий рост, более мощный торс и более светлая шевелюра. У него была крепкая шея и розовые щеки; жизнь казалась ему забавной шуткой. В отличие от Филиппа его не терзали страсти. Он был женат – и женат удачно – на девице Монморанси, от которой прижил троих детей.

– Никак не пойму, – начал он, подвигаясь ближе к камину, – почему выбор Бланки пал именно на меня и вообще зачем ей понадобилось иметь любовника. Маргарита – другое

дело, тут все ясно. Достаточно взглянуть на Людовика Наваррского – ходит, глаз не подымет, ногами загребает, грудь впалая – и посмотреть на тебя. Тут и сомнений никаких быть не может. И потом, нам ведь кое-что известно!

Готье намекал на супружеские тайны королевской четы – на недостаток любовного пыла у Людовика и глухую ненависть, существовавшую между супругами.

– Но Бланка!.. Этого я никак понять не могу, – продолжал Готье д'Онэ. – Муж у нее красавец, гораздо красивее меня... Не возражай, пожалуйста, Филипп, я-то знаю, что он красивее; он как две капли похож на своего отца... любит ее и, что бы Бланка ни говорила, уверен, что и она его любит. Тогда зачем же все это? Всякий раз, когда я прихожу к ней на свидание, я себя спрашиваю – откуда мне такая удача?

– Ей, видишь ли, не хочется отстать от Маргариты, – ответил Филипп.

В коридоре, соединяющем башню с отелем, раздались легкие шаги и приглушенный шепот, и в дверях показались принцессы.

Филипп бросился к Маргарите, но тут же остановился как вкопанный. На поясе своей милой он заметил золотой кошель, усыпанный драгоценными камнями, вид которого поверг его этим утром в такой гнев.

– Что с тобой, Филипп, милый? – спросила Маргарита, протягивая к нему руки и подставляя для поцелуя свое хорошенькое личико. – Разве нынче вечером ты не чувствуешь себя счастливым?

– Конечно, чувствую, – ответил Филипп ледяным тоном.

– Так в чем же тогда дело? Какая муха тебя укусила снова?

– Это чтобы меня подразнить? – произнес Филипп, указывая на кошель.

Маргарита рассмеялась воркующим смехом.

– До чего же ты глуп, до чего же ты ревнив, до чего же ты восхитителен! Неужели ты до сих пор не понял, что все это игра? Дарю тебе этот несчастный кошель – надеюсь, теперь ты успокоишься. Поймешь, что это не был дар любви.

Маргарита поспешно отцепила кошель от пояса и продела в ушки пояс Филиппа, который стоял как громом пораженный. Он отвел было руку королевы.

– Нет, нет, я так хочу, – сказала Маргарита. – Теперь это действительно дар любви, но предназначается он тебе. Не вздумай отказываться. Ничто не достаточно хорошо для моего хорошего Филиппа. Но только не спрашивай, откуда у меня этот кошель, иначе я вынуждена буду тебе сказать всю правду. Могу лишь поклясться, что подарил мне его не мужчина. Впрочем, посмотри сам, и у Бланки точно такой же, – добавила она, обернувшись к невестке. – Бланка, покажи, пожалуйста, свой кошель Филиппу. Я свой ему подарила.

Бланка лежала на низенькой кровати, стоявшей в самом темном углу залы. Готье, опустившись на колени, осыпал поцелуями ее шею и руки.

– Держу пари, – шепнула Маргарита на ухо Филиппу, – что через минуту твой брат получит такой же подарок.

Приподнявшись на локте, Бланка спросила:

– А может быть, Маргарита, ты поступила неосторожно, да и имеем ли мы вообще право?

– Конечно, имеем, – прервала ее Маргарита. – Ведь, кроме Жанны, никто не видел и никто не знает, от кого мы их получили.

– В таком случае, – воскликнула Бланка, – я не желаю, чтобы мой Готье был любим меньше, чем твой Филипп, и чтобы твой Филипп был наряднее моего Готье.

Она тоже сняла с пояса кошель, и Готье, не чинясь, принял подарок, поскольку его принял Филипп.

Маргарита взглянула на Филиппа, словно говоря: «Ну, что я сказала?» Филипп улыбнулся в ответ. «Какая удивительная эта Маргарита», – подумал он.

Филипп до сих пор не мог ни понять, ни разгадать своей любовницы. Неужели та самая Маргарита, жестокая, кокетливая, вероломная Маргарита, что сегодня утром потешалась над ним, поджаривала его, словно фазана на вертеле, неужели это она подарила ему сейчас драгоценный кошель, цена которому полтораста ливров, и, подарив, замерла в его объятиях, нежная, трепещущая, покорная.

– Иной раз мне кажется, что я так сильно люблю тебя потому, что не понимаю, – шепнул Филипп.

Ни один самый искусный комплимент не мог так польстить самолюбию Маргариты. Она отблагодарила Филиппа, припав к его шее долгим поцелуем. И вдруг вырвалась из его объятий, насторожилась и воскликнула:

– Слышите? Тамплиеров повели на костер!

Глаза Маргариты оживились, заблестали почти болезненным любопытством. Схватив Филиппа за руку, она увлекла его к окну – высокой бойнице, прорезанной в толще стены наподобие воронки, и распахнула раму.

В комнату ворвался оглушительный шум.

– Бланка, Готье, идите сюда скорее! – позвала Маргарита.

Но Бланка отказалась идти. Счастливым, задышающимся голосом она проворковала:

– Нет, не хочу, мне и здесь хорошо.

Уже давно обе принцессы и их любовники отбросили всякую стыдливость. У них вошло в привычку предаваться любовным играм в присутствии друг друга. Если Бланка иногда и отводила взор, старалась укрыть свою наготу в темных углах зала, то Маргарита, наоборот, вдвойне наслаждалась любовью, созерцая чужую любовь и творя свою на глазах у других.

Но сейчас она не могла оторваться от окна, увлеченная зрелищем, развертывавшимся посреди Сены. Там внизу, на Еврейском острове, стояла тесным кольцом сотня лучников, каждый держал в руке пылающий факел; языки пламени, колеблемые ветром, сливались в сплошную ограду огня, за ней можно было различить огромную кучу дров и хвороста, вокруг которой суетились подручные палача, скатывая с костра лишние поленья. Еврейский остров, представлявший собой в обычное время луг, где мирно паслись коровы и козы, был запружен зеваками; а по реке скользили десятки лодок – это запоздавшие торопились поспеть на казнь.

К правому берегу острова причалила лодка значительно длиннее всех прочих, битком набитая вооруженными людьми. Две серые фигурки в каких-то странных головных уборах сошли на берег, предшествоваемые монахом, который нес в руке распятие. Гул голосов стал громче. Почти в ту же минуту в большой застекленной галерее, помещавшейся в конце дворцового сада, у самой воды, загорелся свет. На освещенном стекле вырисовалось несколько силуэтов, и рев толпы мгновенно смолк. Это король вместе с членами Королевского совета пришел посмотреть на казнь.

Вдруг Маргарита захохотала долгим, бесконечно долгим пронзительным смехом.

– Почему ты смеешься? – спросил Филипп.

– Потому что там Людовик, – ответила она. – Будь посветлее, он бы меня увидел...

Глаза ее блеснули, вокруг выпуклого лба развевались темные кудряшки. Быстрым движением она спустила лиф платья, показав свои великолепные смуглые плечи, затем сбросила одежду прямо на пол и, обнаженная, осталась стоять перед окном, словно ждала, хотела, презрев пространство и мрак, подразнить своего ненавистного мужа. Взяв руки Филиппа в свои, она положила их себе на бедра.

В глубине зала, где сгустилась полумгла, лежали в объятиях друг друга Бланка и Готье, и обнаженное тело Бланки отливало перламутром.

Оттуда, снизу, с острова, окруженного водами Сены, снова слышался рев толпы. Это тамплиеров, связанных, ввели на костер, который должен был запылать через секунду.

Ночная прохлада лилась в открытое окно; Маргарита вздрогнула и подошла к камину. Она сосредоточенно глядела на горящие угли, всем телом впивала их тепло, но отступила под непереносимой лаской огня. Языки пламени бросали на ее смуглую кожу дрожащие отсветы.

– Их сейчас сожгут, они сгорят, – произнесла она хриплым, чуть задышающимся голосом, – а мы тем временем...

Ее взгляд старался проникнуть в самое пекло огня, словно Маргарита желала опьянить себя картиной ада.

Потом она резко обернулась и, глядя в лицо Филиппа, отдалась ему, как нимфа отдается в лесу фавну.

Пламя камина отбрасывало на стену их огромные тени, касавшиеся головами сводчатого потолка.

Глава VIII «Призову на суд божий»

Дворцовый сад отделялся от Еврейского острова узкой протокой. Костер сложили как раз напротив королевской галереи – отсюда Филипп Красивый мог без помех наслаждаться зрелищем.

Все новые и новые толпы зевак прибывали к месту казни, они заполнили оба берега реки, все свободное пространство на островке. Этим вечером парижские лодчики изрядно подзаработали.

Но лучники стояли нерушимым строем; стражники врезались в самую гущу толпы; отряды вооруженной стражи были расставлены на всех мостах и в конце всех улиц, выходящих к Сене. Итак, с этой стороны опасности не предвиделось.

– Мариньи, можете поздравить прево, – обратился Филипп к своему коадьютору, который ни на шаг не отходил от королевской персоны.

Еще утром приближенные короля боялись, что волнение может перерасти в бунт, и вдруг все кончилось народным гуляньем, ярмарочным весельем, театральным зрелищем, которым монарх решил угостить свою столицу. Да и впрямь все здесь напоминало празднество. Рядом с почтенными горожанами, которые привели посмотреть на тамплиеров всех своих чад и домочадцев, толкались нищие, сюда сбежались развратные и насурьмленные непотребные девки, покинув улочки, прилегающие к собору Парижской Богоматери, где процветала торговля любовью. В ногах у взрослых путались мальчишки, норовя пробраться в первые ряды. Евреи с желтым кружком на плаще боязливо жались друг к другу – они тоже пришли посмотреть на казнь, которая на сей раз миновала их. Прекрасные дамы в подбитых мехом накидках, искательницы сильных впечатлений, льнули к своим кавалерам, время от времени истерически вскрикивая.

Ночь выдалась холодная, с реки порывами налетал ветер. Пламя факелов, отражавшееся в воде, бежало по ее зыби длинными багровыми струйками.

Мессир Алэн де Парейль, в шлеме с поднятым забралом, храня свой обычный скукающий вид, красовался на коне перед строем лучников.

Костер сложили выше человеческого роста; главный палач и его подручные в красных кафтанах и с капюшонами на голове, с озабоченным видом людей, которым хочется выполнить свое дело как можно лучше, суетились вокруг, подравнивали сложенные дрова, готовили охапки хвороста про запас.

На вершине костра стояли привязанные к столбам Великий магистр ордена тамплиеров и приор Нормандии, лицом к королевской галерее. Для вящего бесчестия на голову им водрузили бумажные митры, какие обычно надевают на еретиков. Ветер играл их длинными бородами.

Монах, которого зоркая Маргарита заметила из окна Нельской башни, протягивал осужденным огромное распятие и обращался к ним с последними увещеваниями. Притихшая толпа прислушивалась к его словам.

– Сейчас вы предстанете перед лицом господина, – надрывно кричал монах. – Признайтесь, пока еще не поздно, в ваших прегрешениях и покайтесь... В последний раз заклинаю вас!

Осужденные, неподвижно стоя на самой верхушке костра, уже отрешившиеся от всех земных забот, словно вознесенные в черное небо над черной землей, не отвечали на его заклинания. Они молча, с нескрываемым презрением смотрели на монаха, беснующегося где-то внизу.

– Не хотят исповедоваться, не желают раскаиваться, – прошел по толпе шепот.

Тишина стала еще напряженнее, еще глубже. Монах, бормоча молитвы, опустился на колени. Главный палач взял из рук своего подручного пучок горящей пакли и помахал ею в воздухе, чтобы огонь сильнее разгорелся.

От едкого дыма чихнул какой-то ребенок, но звонкая пощечина тут же его усмирила.

Капитан Алэн де Парейль повернулся к королевской галерее, словно ожидая знака, и все головы, все взоры медленно, как по команде, обернулись в ту же сторону. И каждый невольно затаил дыхание.

Филипп Красивый стоял возле балюстрады; члены Королевского совета почтительно толпились вокруг него. В неверном свете факелов четко вырисовывались их лица, и вся группа придворных напоминала барельеф, высеченный на башенной стене из розового камня.

Даже осужденные подняли глаза к королевской галерее. Взгляды Филиппа и Великого магистра скрестились, будто мерясь силой, застыли, не отрывались друг от друга. Никто не знал, какие мысли, чувства, воспоминания проносятся в эту минуту в головах двух заклятых врагов. Но толпа инстинктивно почувствовала, что происходит нечто непередаваемо ужасное – так нечеловечески страшен был этот молчаливый поединок между всемогущим государем, окруженным свитой исполнителей его воли, и Великим магистром рыцарства, привязанным к позорному столбу, между двумя этими людьми, которых право рождения и случайности Истории вознесли над всеми остальными.

Быть может, Филипп Красивый, движимый высшим состраданием, помилует осужденных? Быть может, Жак де Молэ смирится наконец и попросит пощады?

Король махнул рукой, и на пальце его сверкнул крупный изумруд. Алэн де Парейль точно таким же жестом махнул палачу, и палач сунул пучок горящей пакли под хворост, сложенный у подножия костра. Из тысячи грудей вырвался вздох – вздох облегчения и ужаса, вздох удовлетворения, страха и тоски, вздох почти сладострастного отвращения.

Раздались женские рыдания. Дети пугливо жались к материнским юбкам. Какой-то мужчина крикнул:

– Я же тебе говорил, не надо ходить!

Густые завитки дыма медленно подымались от костра, и ветер гнал их в направлении королевской галереи.

Его высочество Валуа закашлялся и продолжал упорно кашлять, как бы желая показать присутствующим, что он лично не может дышать таким воздухом. Он попятился и, встав между Ногарэ и Мариньи, произнес:

– Мы тут задохнемся раньше, чем тамплиеры сгорят. Вы могли бы по крайней мере распорядиться запасти сухих дров.

Никто не ответил на это замечание. Ногарэ, весь напрягшись, упивался своим торжеством, глаза его блестели. Этот костер увенчивал семь лет борьбы и утомительных трудов, он был завершением сотни речей, произнесенных ради того, чтобы убедить, сотен страниц, исписанных ради того, чтобы доказать. «Ну вот, теперь горите, жарьтесь, – думал он. – Не все вам торжествовать надо мной, я пересилил – и вы побеждены».

Ангерран де Мариньи в подражание королю старался сохранять полное спокойствие и смотреть на казнь лишь как на государственную необходимость. «Так надо, так надо», – твердил он про себя. Но при виде этих людей, которым суждено было умереть, он невольно думал о смерти: двое обреченных вдруг перестали в его глазах быть лишь политической абстракцией. Пусть они объявлены людьми злокозненными, опасными для государства, они все равно живые существа из плоти и крови, они мыслят, страдают, мучаются так же, как и все остальные, как он сам. «Проявил бы я на их месте такое же мужество?» – спрашивал себя Мариньи, невольно восхищаясь этими старцами. При одной мысли, что он может очутиться на их месте, по спине у него пробежала дрожь. Но он мгновенно овладел собой. «Что за дурацкие мысли лезут мне в голову? – шептал он про себя. – Конечно, и я, как любой смертный, могу заболеть, да и мало ли что может со мной случиться, но только не это. От этого я защищен. Я лицо столь же неприкосновенное, как и сам король...»

Но ведь и Великий магистр семь лет назад мог ничего не бояться, и не было во всей Франции человека, обладавшего большим могуществом.

Добряк Юг де Бувилль, королевский камергер с пегими волосами, неслышно творил про себя молитвы.

Ветер резко переменял направление, и дым, с каждой минутой становясь все гуще, поднялся столбом, окутал тамплиеров, скрыл их от глаз толпы. Слышно было только, как надсадно кашляли и судорожно икали два старика, привязанные к позорному столбу.

Вдруг Людовик Наваррский, потирая покрасневшие веки, разразился идиотским смехом.

Его брат Карл, младший сын Филиппа Красивого, стоял, отвернувшись от костра. Зрелище казни, очевидно, доставляло ему страдание. Карлу исполнилось двадцать лет; это был стройный блондин с нежным румянцем на щеках – все, кто помнил короля в годы его юности, утверждали, что сын похож на Филиппа как две капли воды, однако облику Карла недоставало отцовской мужественности, спокойной властности – словом, он казался слабой копией великого оригинала. Сходство, бесспорно, было, не было лишь отцовской твердости.

– Я заметил в окнах Нельской башни свет, – вполголоса обратился Карл к Людовику.

– Должно быть, стражники тоже хотят посмотреть на казнь.

– Я охотно поменялся бы с ними местами, – пробормотал Карл.

– Как так? Разве тебе не весело смотреть, как на костре поджаривают крестного отца Изабеллы?

– Ах, я и забыл, что Молэ крестил нашу сестру, – все так же вполголоса ответил Карл.

– По-моему, зрелище презабавное, – отозвался Людовик Наваррский.

– Людовик, замолчите, – приказал король, которого отвлекало шушуканье сыновей.

Желая отделаться от чувства мучительной неловкости, молодой принц Карл постарался направить свои мысли по более приятному руслу. И он стал думать о своей жене Бланке, о чудесной улыбке своей Бланки, о прелестях Бланки, о ее руках, которые легко лягут на его плечи и прогонят прочь, заставят позабыть это страшное зрелище. Как она любит его, сколько счастья излучает вокруг. Вот если бы только их двое детей не умерли совсем маленькими... Ничего, у них еще будут дети, и тогда уже ничто не омрачит их жизнь... Очарование и душевный, ничем не нарушаемый покой... Бланка сказала ему, что нынче вечером пойдет

посидеть с Маргаритой. Сейчас она, должно быть, уже вернулась домой. Не забыла ли она захватить меховую накидку, взяла ли с собой достаточно стражников?

Рев толпы прервал ход его мыслей, и Карл вздрогнул всем телом. Костер наконец разгорелся. По приказу Алэна де Парейля лучники потушили факелы, бросив их в мокрую траву, и теперь только пламя костра рассеивало мрак.

Первым огонь достиг приора Нормандии. Когда языки пламени лизнули его ноги, он каким-то отчаянным движением подался назад, широко открыл рот, надеясь вобрать побольше воздуха, такого желанного сейчас воздуха. Несмотря на веревки, которые удерживали его у столба, он перегнулся чуть ли не вдвое; от этого движения с головы свалилась бумажная митра, и зрители заметили огромный белый рубец, шедший поперек багрового лица. Пламя плясало вокруг. Потом приора Нормандии заволокло густой завесой дыма. Когда завеса рассеялась, Жоффруа де Шарнэ был уже весь охвачен огнем, он вопил, он задыхался, он рвался прочь от рокового столба, который зашатался у основания. Великий магистр крикнул ему что-то, но рев толпы, желавшей заглушить свой ужас, покрывал все звуки, и только пробравшиеся в первые ряды разобрали слово «брат» и еще раз «брат».

Подручные палача, расталкивая народ, хлопотали вокруг костра – кто бегом подносил поленья, кто ворошил уголья длинными железными крючьями.

Людовик Наваррский, обычно понимавший слова собеседника лишь спустя некоторое время, спросил брата:

– Значит, ты говоришь, что видел в Нельской башне свет?

И нахмурился, словно какая-то докучливая мысль пришла ему в голову.

Ангерран де Мариньи невольно поднес ладонь к лицу, как бы желая защитить глаза от ярких вспышек пламени.

– Чудесное зрелище вы уготовили нам, Ногарэ, подлинная картина преисподней, – произнес Валуа. – Должно быть, о своей будущей жизни задумались?

Гийом де Ногарэ не ответил на шутку его высочества.

Костер разгорелся с новой силой, и Жоффруа де Шарнэ, приор Нормандии, охваченный пламенем, уже напоминал обуглившийся ствол, который потрескивал в огне, покрывался пузырями, обращаясь постепенно в пепел, рассыпаясь пеплом.

Многие женщины теряли сознание. Другие сломя голову бросались к берегу, нагибались над протокой и даже не боролись с приступами рвоты, хотя король сидел чуть ли не напротив. Толпа, охрипшая от крика, примолкла, и кое-кто уже уверял, что совершится чудо, ибо ветер упорно дул все в том же направлении и пламя еще не коснулось Великого магистра. Нет, неспроста его так долго не берет огонь, неспроста костер с его стороны не желает гореть.

Но вдруг верхние поленья осели, и пламя, получив новую пищу, взмыло вверх, к ногам Жака де Молэ.

– Наконец-то, – воскликнул Людовик Наваррский, – наконец-то и его взяло!

Вытянув и без того длинное лицо, напряжив худую шею, он весь сотрясался в приступе необъяснимого смеха, который неизменно нападал на него в самых, казалось бы, трагических обстоятельствах.

На огромные холодные глаза Филиппа Красивого ни разу, даже сейчас, не опустились веки.

Внезапно завесу пламени прорвал голос Великого магистра, и слова его были обращены ко всем и к каждому и беспощадно разили каждого. И так неодолима была сила этого голоса, что казалось, принадлежит он уже не человеку, а идет из нездешнего мира. Жак де Молэ снова заговорил, как нынче утром, на паперти собора Парижской Богоматери.

– Позор! Позор! – кричал он. – Вы все видите, что гибнут невинные. Позор на всех вас! Господь бог нас рассудит!

Коварный язык пламени подкрался к нему, опалил бороду, в мгновение ока уничтожил бумажную митру, поджег седые волосы.

Толпа безмолвствовала в оцепенении. Людям казалось, что на их глазах жгут безумного пророка.

Лицо Великого магистра, пожираемого пламенем, было повернуто к королевской галерее. И громовой голос, сея страх, вещал:

– Папа Климент... рыцарь Гийом де Ногарэ, король Филипп... не пройдет и года, как я призову вас на суд божий и воздастся вам справедливая кара! Проклятие! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!..

Пламя закрыло ему рот и заглушило последний крик Великого магистра. И в течение минуты, которая показалась зрителям нескончаемо долгой, он боролся со смертью.

Наконец тело его, перегнувшись пополам, бессильно повисло на веревках. Веревки лопнули. Великий магистр рухнул в бушующий огонь, и из багровых языков пламени выступила поднятая рука. И пока не почернела, не обуглилась, все еще с угрозой вздымалась к небесам.

Толпа, напуганная проклятиями тамплиера, не трогалась с места, и тяжелые вздохи, неясный шепот выражали растерянность, тревожное ожидание. Всей своей тяжестью навалились на людей ночь и ужас: мрак победил свет, падавший от затухавшего костра.

Лучники расталкивали толпу, но никто не решался отправиться домой.

– Ведь он не нас проклял, а короля, верно ведь? – вполголоса переговаривались люди.

И все взоры невольно обращались к галерее. Король по-прежнему стоял у балюстрады. Не отрываясь смотрел он на обуглившуюся руку Великого магистра, которая чернела на фоне багрово-красных поленьев. Обугленная рука – вот и все, что осталось от могущества и славы Великого магистра, все, что осталось от знаменитого ордена тамплиеров. Но недвижимая эта рука застыла в жесте, предающем проклятию.

– Ну что, брат мой, – сказал его высочество Валуа, криво улыбнувшись, – надеюсь, вы теперь довольны?

Филипп Красивый обернулся на голос.

– Нет, брат мой, – ответил он. – Я недоволен. Я совершил ошибку.

Валуа напыжился от гордости – наконец-то пришел его час торжества над братом.

– Да, я совершил ошибку, – продолжал король. – Я должен был приказать вырвать им язык, а уж затем посылать их на костер.

И невозмутимо спокойный, как и всегда, король в сопровождении Ногарэ, Мариньи и первого камергера удалился в свои покои.

Костер подернулся серым пеплом, только там и сям вспыхивали искорки и тут же гасли. Галерею заволокло дымом, принесшим с собой удушливый запах жженого человеческого мяса.

– Фу, как воняет, – сказал Людовик Наваррский. – Нет, право же, ужасно воняет. Уйдем отсюда поскорее.

А юный принц Карл с тревогой думал, сумеет ли он в объятиях своей супруги Бланки забыть все, что он видел.

Глава IX Ночные грабители

Покинув гостеприимный кров Нельской башни, Готье и Филипп д'Онэ нерешительно брели по скользкой грязи, напряженно вглядываясь в темноту.

Лодочник, доставивший их сюда, исчез, словно сквозь землю провалился.

– Я же тебе говорил. Этот старикашка мне сразу не понравился, – начал Готье, – нельзя доверять первому встречному.

– Ты слишком щедро с ним расплатился, – возразил Филипп. – Просто мошенник решил, что пора ему развлечься, и отправился смотреть на казнь.

– Дай-то бог, чтоб оно так и было.

– А что же, по-твоему, еще может быть?

– Не знаю. Но чувствую, что все это не к добру. Старик сам вызвался нас перевезти и всю дорогу плакался, что ничего не заработал с самого утра. А когда ему велели подождать, взял да уехал.

– А что нам было делать? Ведь, кроме него, мы не нашли ни одного перевозчика. Значит, выбирать не приходилось.

– Правильно, – согласился брат. – Только он слишком уж много задавал нам вопросов.

Он замолк и прислушался, надеясь уловить стук весел в уключинах, но не услышал ничего, кроме негромкого плеска волн да отдаленного гула толпы, расходящейся по домам. Там, на Еврейском острове, который назавтра же парижане перекрестят в остров Тамплиеров, потух костер, подернулись пеплом угли. К едкому запаху дыма примешивался приторный запах речной воды.

– Ничего не поделаешь, придется идти пешком, – сказал Готье. – Хотя, должно быть, увязнем по уши. Но, ей-богу, после такой ночи стоит пострадать.

Братья пошли вдоль стен Нельского отеля, поддерживая друг друга, чтобы не поскользнуться и не упасть. Они по-прежнему зорко вглядывались в ночной мрак, словно ища у него ответа. Первозчика нигде не было видно.

– А я все думаю, откуда они у них? – вдруг произнес Филипп.

– Кто они?

– Кошели.

– Опять ты об этих кошелях, – возмутился старший брат. – Уверяю тебя, меня это ничуть не заботит. Знаю лишь одно – до сих пор мы с тобой от них такого прекрасного подарка не получали.

Он нежно погладил ладонью кошель, висевший у пояса, и почувствовал под пальцами грани драгоценных рубинов.

– Кто-нибудь из придворных? – продолжал размышлять вслух Филипп. – Нет, в таком случае Маргарита и Бланка не подарили бы нам кошель, побоялись бы, что их узнают. Тогда кто же, кто? Может быть, кто-нибудь из их бургундской родни?.. Но странно, почему Маргарита об этом мне прямо не сказала.

– А ты что предпочитаешь, – со смехом спросил брата Готье, – знать или иметь?

Не успел Филипп ответить на этот вопрос, как впереди раздался негромкий свист. Братья вздрогнули от неожиданности и одновременно схватились за рукоятки кинжалов. Никакого иного оружия они не захватили, справедливо решив, что оно может помешать им во время этой ночной прогулки.

Любая встреча в здешних местах и в столь поздний час могла обернуться плохо.

– Эй, кто там идет? – окликнул Готье.

Снова раздался свист, и братья д'Онэ не успели даже занять оборонительной позиции.

Шесть человек вдруг выступили из тьмы и напали на них. Трое нападающих набросились на Филиппа, прижали его спиной к стене и крепко держали за обе руки, так что он не мог действовать кинжалом. Зато трое других еле справлялись с Готье. Старший д'Онэ швырнул на землю одного из грабителей – вернее, грабитель упал, чтобы избежать удара кинжалом. Но двое других схватили Готье сзади, вывернули ему руку, и он выронил оружие. Филипп чувствовал, как шарят по его телу руки грабителей, как добиваются до золотого кошель.

А главное – нельзя даже позвать на помощь! Правда, на крик непременно явятся стражники, охраняющие Нельскую башню, но в этом случае не оберешься вопросов: откуда явились братья д'Онэ, зачем сюда пожаловали, что делали? И поэтому оба они боролись молча. Или они выберутся из беды одни, без посторонней помощи, или же не выберутся из нее совсем.

Филипп, прижатый к стене, отбивался с энергией отчаяния и лягал нападавших ногами, так как не мог пустить в ход кинжала. Он не желал расставаться со своим кошельком. Этот кошелек вдруг стал дороже всего, что было у него на целом свете, и он решил спасти его любой ценой. А Готье был склонен вступить с грабителями в сделку. Пусть берут все, что угодно, лишь бы оставили жизнь. Да только оставят ли, не бросят ли, ограбив дочиста, в Сену, а завтра всплывут на поверхность два изуродованных трупа.

Как раз в этот момент из ночной мглы выступила какая-то тень. Готье увидел подошедшего только в последнюю минуту и не успел решить, кто это – спаситель или новое подкрепление грабителей.

Дальнейшее произошло в мгновение ока. Один из грабителей крикнул:

– Эй, ребята, спасайся кто может!

Словно лев, ворвался пришелец в самую гущу свалки, и участники ее увидели, как блеснуло, вихрем завертелось лезвие меча.

– Ах, жулье! Ах, негодяи! Ах, наглецы! – оглушительно вопил незнакомец, щедро раздавая удары направо и налево.

Под градом ударов грабители разлетелись во все стороны. Один из них имел неосторожность приблизиться к незнакомцу, и тот, схватив его свободной рукой за ворот, с размаху швырнул в Сену. Вся шайка бросилась бежать без оглядки. Слышен был только торопливый топот ног, который затихал по мере того, как грабители пробирались к берегу, в сторону Пре-о-Клер, потом все стихло.

С трудом переводя дыхание, спотыкаясь на каждом шагу, Филипп подошел к брату, прижав обе руки к груди.

– Ранен? – спросил он.

– Нет, – ответил Готье прерывающимся голосом, потирая ушибленное плечо. – А ты?

– Тоже нет. Но мы спаслись просто чудом. Не сговариваясь, оба брата д'Онэ разом повернулись к незнакомцу, который несколько секунд назад рассеял шайку грабителей, а теперь направлялся к спасенным, вкладывая на ходу клинок в ножны. Это был высокий, широкоплечий, крепкий мужчина; он с присвистом, по-звериному, выпускал из ноздрей воздух.

– Так вот что, мессир, – начал Готье, – мы непременно поставим за ваше здоровье преогромную свечку. Не будь вас, плавать бы нам по Сене вверх брюхом. Кому мы имеем честь быть обязанными своим спасением?

Незнакомец расхохотался, смех у него был громкий, басистый, чуть наигранный. Даже в ночных сумерках ярко блестели его зубы, похожие на волчьи клыки. Братья невольно подумали, что уже слышали когда-то этот смех, но тут из-за туч выплыла луна, и они узнали своего спасителя.

– Ах, черт возьми, да ведь это вы, ваша светлость! – воскликнул Филипп.

– Ах, черт возьми, да это вы, красавчики! – в тон ему ответил тот, кого Филипп назвал «ваша светлость». – И я вас тоже узнал!

Спасителем братьев д'Онэ оказался Робер Артуа.

– Братья д'Онэ! – воскликнул Робер. – Самые прекрасные юноши среди всех придворных короля. Черт меня побери, кто бы мог предположить... Прохожу по берегу, слышу какой-то шум, ну, думаю, вот и еще одного мирного горожанина потрошат. Надо признаться, весь

Париж наводнен головорезами, а наш прево Плуабуш... да, наш Плуабуш не очень-то дюж! Даже не помышляет очистить от них город, а лижет пятки Мариньи...

– Ваша светлость, – прервал его Филипп, – мы не знаем, как вас и благодарить...

– Пустяки! – воскликнул Робер Артуа, хлопнув своей лапищей Филиппа по плечу, отчего тот пошатнулся. – Одно удовольствие! Естественный порыв дворянина, обязанного поспешить на помощь человеку в беде. Но удовольствие возрастает, когда спешишь на помощь знакомым рыцарям, и я просто в восторге, что сохранил своим родичам Валуа и Пуатье их лучших конюших. Жаль только, что такая темень! Эх, взойди луна чуть пораньше, я бы с немалой охотой вспорол брюхо хоть одному из этих молодчиков. Но я боялся действовать круче, опасаясь задеть вас... Скажите мне, красавчики, вы-то что делали в этом грязном закоулке?

– Мы... мы гуляли... – смущенно ответил Филипп д'Онэ.

Гигант захохотал во все горло.

– Они гуляли! Чудесное место для прогулок, да и время самое подходящее! Они, видите ли, гуляли! Да тут в грязи утонешь! Ну и шутники! Ах, молодость, молодость! Любовные делишки, не так ли? Свидание с хорошенькой девицей, а? – подмигнул он Филиппу и снова шутливо ударил его по плечу. – Хорошо жить в ваши годы – огонь по жилам так и бежит! Хорошо!

Вдруг он заметил кошель, блеснувшие в свете луны.

– Ого! – закричал он. – Огонь-то по жилам бежит, как видно, не без толка! Чудесная вещица, красавчики, чудесная вещица!

Он взвесил на ладони кошель, прицепленный к поясу Готье.

– Золотое плетение, тонкая работа!.. Работа итальянская, а может быть, и английская. И совсем новенькие... Конечно, не на жалованье конюших вы позволяете себе так роскошествовать. Да, грабители сделали бы славное дельце.

Робер разгорячился, он размахивал руками, игриво толкал братьев в бок, отпускал сальные шуточки, весь рыжий, громадный в ночном полумраке. Он порядком надоел братьям д'Онэ. Но как закажешь человеку, который только что спас вам жизнь, лезть не в свои дела?

– За любовь платят, шалунишки, – продолжал он, шагая между ними. – Надо полагать, что ваши любовницы – дамы весьма высокородные и весьма щедрые. Ну и ловкачи эти проклятые д'Онэ! Кто бы мог подумать!

– Его светлость ошибается, – холодным тоном произнес Готье. – Эти кошель достались нам по наследству.

– Ну конечно же, так я и думал, – сказал Артуа. – По наследству от той семьи, которую вы навещали ночью под стенами Нельской башни! Ладно, ладно, молчу! Честь прежде всего. Я вас одобряю, детки. Умеешь ласкать даму – умеи уважать ее репутацию! Ну, прощайте. И не гуляйте больше по ночам, увешанные ювелирными изделиями.

Робер снова оглушительно захохотал, обнял братьев дружески за плечи, чуть не столкнув их лбами, и ушел, предоставив им тревожиться и сердиться на свободу, даже не дослушав слов их благодарности.

Братья д'Онэ вместе со своим спутником незаметно дошли до ворот Бюси и теперь повернули направо, а Робер Артуа зашагал через Пре-о-Клер по направлению к Сен-Жермен-де-Пре.

– Хорошо, если он не разболтает всему двору, где встретился с нами, – сказал Готье. – Как ты думаешь, способен он держать пасть на запоре?

– Думаю, что да, – ответил Филипп. – В сущности, он неплохой малый. Не будь у него такой, как ты выражаешься, пасти и таких ручищ, еще неизвестно, были бы мы живы. Нельзя же так скоро забывать оказанную тебе услугу.

– Ты прав. Впрочем, мы тоже могли бы его спросить, что он сам-то делал в таком захолустье?

– Бегал за непотребными девками, уверяю тебя. И сейчас отправился в какое-нибудь злачное местечко, – ответил Филипп.

Он ошибался. Робер Артуа вовсе не собирался развлекаться. Сделав крюк по Пре-о-Клер, он снова вышел на берег и возвратился к причалу у подножия Нельской башни.

Луна опять спряталась за тучи. Робер негромко свистнул – такой же свист час назад возвестил о начале нападения на братьев д'Онэ.

Шесть теней отделились от стены, а седьмая поднялась со дна лодки. Все семь теней стояли перед его светлостью Робером Артуа в самых почтительных позах.

– Чудесно, чудесно, вы хорошо справились с делом, – начал Артуа, – все получилось, как я задумал. Подойди сюда, Карл Ган! – позвал он главаря бандитов. – Возьми и раздели поровну между твоими людьми.

И Робер бросил ему кошелек.

– Здорово вы, ваша светлость, меня по плечу ударили, – заметил один из грабителей.

– Подумаешь, велика важность! Это предусмотрено в оплате, – засмеялся Артуа. – А теперь прочь отсюда. Если вы мне опять понадобится, я вас извещу.

Затем Робер сошел в лодку, которая осела под его тяжестью. Лодочник, схватившийся за весла, был тот самый старик, что привез сюда братьев д'Онэ.

– Ну как, ваша светлость, довольны? – спросил он. Лодочник задал вопрос самым обычным, а не тем хнычущим тоном, которым он говорил с братьями д'Онэ; казалось, он даже помолодел лет на десять и теперь изо всех сил налегал на весла.

– Доволен, мой старый Лорме! Ты здорово провел их, – ответил великан. – Теперь я узнал все, что хотел знать.

С этими словами Робер откинул назад свой мощный торс, вытянул свои слоновые ноги и погрузил в черные воды Сены свою огромную лапищу.

Часть вторая Принцессы-прелюбодейки

Глава I Банк Толомеи

Мессир Спинелло Толомеи минуту сидел в задумчивости, потом, понизив голос до полупшепота, словно боялся, что его могут подслушать, спросил:

– Две тысячи ливров задатку? Устроит ли его высокопреосвященство столь скромная сумма?

Левый глаз банкира был закрыт, а правый, смотревший на собеседника невинным и спокойным взглядом, неестественно блеснул.

Хотя мессир Толомеи уже давным-давно обосновался во Франции, он никак не мог отделаться от итальянского акцента. Это был пухлый смуглый брюнет с двойным подбородком. Волосы с проседью, аккуратно расчесанные и подстриженные, падали на воротник кафтана из тонкого сукна, отороченного мехом и стянутого поясом на брюшке, напоминавшем по форме тыкву. Когда банкир говорил, он назидательно подымал пухлые руки и осторожно потирал кончики тонких пальцев. Враги уверяли, что открытый глаз банкира лжет, а правда спрятана в закрытом глазу.

Спинелло Толомеи, один из самых могущественных дельцов Парижа, напоминал манерами епископа – по крайней мере в эту минуту, поскольку беседовал он с прелатом.

А прелат был не кто иной, как Жан де Мариньи, худой, изящный, даже грациозный юноша, тот самый, что накануне во время заседания церковного судилища сидел на паперти собора Парижской Богоматери в такой томной позе и потом обрушился на Великого магистра.

Младший брат Ангеррана де Мариньи был назначен в архиепископство Санское, от которого зависела парижская епархия, с целью довести до желаемого конца процесс против тамплиеров. Таким образом, гость был причастен к самым важным государственным делам.

– Две тысячи ливров? – переспросил он.

Посетитель держал себя не совсем спокойно. Услышав эту цифру, он взволнованно отвернулся, желая скрыть от банкира радостное изумление, осветившее его лицо. Подобной суммы он никак не ожидал.

– Что ж, эта сумма меня, пожалуй, устроит, – проговорил он с наигранно небрежным видом. – Я предпочел бы, чтобы дело было улажено как можно скорее.

Банкир следил за ним хищным взглядом, будто жирный кот, подстерегающий хорошенькую пичужку.

– Можно устроить все тут же, на месте, – ответил он.

– Прекрасно, – отозвался юный архиепископ. – А когда прикажете принести вам...

Он не закончил фразы, так как ему почудился за дверью какой-то подозрительный шум. Но нет! Ничто в доме не нарушало тишины. Только в окно доносился обычный утренний гул, наполнявший Ломбардскую улицу, – пронзительные крики точильщиков, водовозов, торговцев зеленью, луком, кресс-салатом, сыром, углем. «Молока, кому молока, тетушки...», «Сыр, хороший сыр из Шампани!..», «Угля!.. Угля! За денье целый мешок!..» Свет, лившийся в огромные трехстворчатые, на итальянский манер, окна, мягко скользил по роскошным

стенным драпировкам, расшитым сценами из военной жизни, по дубовым буфетам, наводшенным до блеска, по большому ларю, обитому железом.

– Вещи? – подхватил Толомеи. – Когда вам будет угодно, ваше высокопреосвященство, когда вам будет угодно.

Поднявшись с кресла, банкир подошел к длинному письменному столу, где в беспорядке валялись гусиные перья, пергаментные свитки, дощечки для письма и стили. Из ящика он вытащил два мешочка.

– По тысяче в каждом, – пояснил он. – Приготовлено нарочно для вас – ежели угодно, можете взять с собой. Соболаговолите, ваше преосвященство, подписать эту расписочку...

И он протянул Жану де Мариньи заранее заготовленный листок.

– Охотно, – ответил архиепископ, берясь за гусиное перо.

Но рука его, уже начавшая выводить первые буквы имени, вдруг замерла в нерешительности. В расписке перечислялись те «вещи», которые он обязан был представить банкиру Толомеи, дабы тот пустил их в оборот; в списке значилась церковная утварь, золотые дароносицы, распятия, усыпанные драгоценными камнями, и, кроме того, диковинное оружие – словом, все сокровища, которые были отобраны у тамплиеров Санской епархией. А ведь это добро должно было поступить в королевскую казну или быть передано в распоряжение ордена госпитальеров. Итак, юный архиепископ собирался совершить прямое мошенничество, прямую растрату государственных средств, и совершить незамедлительно. Поставить свою подпись под этой распиской сегодня утром, всего через несколько часов после того, как сожгли тамплиеров...

– Я предпочел бы... – начал архиепископ.

– Чтобы эти предметы были проданы за пределами Франции? – прервал его сиенец. – Ну конечно же, ваше высокопреосвященство. Non sonno pazzo, я еще с ума не сошел.

– Я хотел сказать... относительно этой расписки.

– Никто, кроме меня, ее не увидит. Это не только в ваших, но и в моих интересах, – ответил банкир. – Я ведь лишь на тот случай, если с кем-нибудь из нас двоих произойдет неприятность... храни нас бог от такого несчастья.

Он набожно перекрестился и, быстро опустив под стол правую руку, сложил два пальца в виде рожек.

– А не будет ли вам слишком тяжело? – спросил банкир, указывая на мешочки с золотом, и этот жест красноречиво говорил, что лично он, Толомеи, считает дело поконченным и не заслуживающим дальнейших обсуждений. – Прикажете послать с вами провожатого?

– Благодарю вас, мой слуга ждет внизу, – ответил архиепископ.

– Тогда... попрошу... вот здесь... – сказал Толомеи, уперев палец в листок, как раз в то место, где архиепископ должен был поставить свою подпись.

Отступать было поздно. Когда человек вынужден искать себе сообщников, приходится доверять им...

– Вы сами понимаете, ваше высокопреосвященство, – начал, помолчав, Толомеи, – что я отнюдь не желаю наживать на вас, поскольку речь идет о такой незначительной сумме. Скажу больше, неприятностей у меня будет куча, а выгоды никакой. Но я иду вам навстречу, поскольку вы человек могущественный, а дружба людей могущественных дороже золота.

Последние слова банкир произнес тоном добродушной шутки, но его левый глаз был по-прежнему плотно прикрыт веком.

«В конце концов, старик говорит чистую правду, – подумал Жан де Мариньи. – Его почему-то считают хитрым, но его хитрость граничит с простодушием».

И он не колеблясь поставил под распиской свою подпись.

– Кстати, ваше высокопреосвященство, не знаете ли вы, как принял король тех английских борзых, которых я ему вчера послал?

– Ах, так вот оно в чем дело! Значит, это вы презентовали того великолепного огромного пса, который от короля ни на шаг не отходит и которого его величество назвал Ломбардцем?

– Назвал его Ломбардцем? Приятно слышать. Король – человек остроумный, – рассмеялся Толомеи. – Вообразите, ваше высокопреосвященство, что вчера утром...

Но банкир не успел рассказать историю о том, что произошло вчера утром, – в дверь постучали. Вошедший слуга доложил, что граф Робер Артуа просит его принять.

– Хорошо, сейчас приму, – сказал Толомеи, движением руки отпуская слугу.

Жан де Мариньи помрачнел.

– Мне не хотелось бы... встречаться с ним, – пояснил он.

– Конечно, конечно, – мягко подхватил банкир. – Его светлость Артуа любитель поговорить. Он повсюду будет рассказывать, что встретил вас здесь...

Банкир позвонил в колокольчик. Тотчас же раздвинулась стенная драпировка, и в комнате появился молодой человек в узком полукафтани. Это был тот самый юноша, который чуть не сбил с ног короля Франции.

– Послушай, племянник, – обратился к нему банкир, – проводи его высокопреосвященство, только не через галерею, и смотри, чтобы его никто не увидел. А это донеси до ворот, – добавил он, подавая два мешочка с золотом. – До скорого свидания, ваше высокопреосвященство!

Согнувшись в низком поклоне, Спинелло Толомеи облобызал великолепный аметист, украшавший руку прелата. Затем услужливо раздвинул перед ним драпировку.

Когда Жан де Мариньи исчез вместе со своим проводником, сиенец подошел к столу, взял подписанную бумагу и аккуратно свернул ее.

– *Coglione*, – пробормотал он. – *Vanesio, ladro, ma pure coglione!*³

Теперь его левый глаз был широко открыт. Спрятав документ в ящик стола, банкир вышел из комнаты, спеша приветствовать второго посетителя.

Он пересек длинную светлую галерею, где стояли прилавки, ибо Толомеи занимался не только банковскими операциями, но и ввозил из заморских стран и продавал в розницу редкие товары всякого рода – от пряностей и кордовской кожи до фландрских сукон, от расшитых золотом кипрских ковров до арабских благовоний.

Целый рой приказчиков занимался с покупателями, двери не закрывались с утра до вечера; счетчики подбивали итоги, пользуясь для этой цели особыми шахматными досками, на которых раскладывались кучками медные бляшки, – всю галерею наполняло жужжание голосов.

Легко продвигаясь вперед, тучный сиенец кланялся на ходу знакомым, бегло просматривал цифры и тут же исправлял ошибку, распекал нерадивого приказчика или, бросив короткое *niente*, нет, отказывал просителю в кредите.

Робер Артуа стоял у прилавка, где было разложено оружие, привезенное из Леванта, и взвешивал на ладони тяжелый дамасский клинок.

Когда банкир дотронулся до локтя великана, тот резко обернулся, и тут же лицо его выразило то простодушие, ту веселость, какую Робер при случае охотно напускал на себя.

– Ну как, – спросил Толомеи, – опять ко мне?

– Уф! – тяжело вздохнул великан. – Хочу вас о двух вещах попросить.

– Догадываюсь, что первая – это деньги!

– Да тише вы! – проворчал Артуа. – И так весь Париж знает, что я вам, лихоимщику, целое состояние должен! Пойдем поговорим где-нибудь в укромном местечке.

Они вышли из галереи. Очутившись в своем кабинете и закрыв дверь, Толомеи сказал:

³ Дурак. Честолюбец, вор, но еще и дурак! (*um.*)

– Если речь, ваша светлость, идет о новом займе, боюсь, что мне придется вам отказать.
– Почему?

– Дорогой граф Робер, – степенно начал Толомеи, – когда у вас была тяжба с вашей тетушкой Маго из-за наследства – я имею в виду графство Артуа, – не кто иной, как я, оплачивал все расходы. Но ведь тяжбу-то вы проиграли!

– Вы же прекрасно знаете, что я проиграл ее только из-за подлости человеческой! – воскликнул Артуа. – Проиграл ее из-за интриг этой дряни Маго... Пусть она сдохнет!.. Шайка мошенников! И дали-то ей графство Артуа лишь для того, чтобы Франш-Конте в качестве приданого ее дочки вернулось в казну. Но если бы существовала на земле справедливость, я был бы пером и самым богатым из всех баронов Франции! И я буду, слышите, Толомеи, буду самым богатым бароном!

Он хватил по столу своим увесистым кулаком.

– От души вам того желаю, дорогой мессир, – по-прежнему спокойно произнес Толомеи. – Но пока что вы проиграли процесс.

Куда делись елейные речи и плавные движения священнослужителя, которыми щеголял во время беседы с архиепископом Санским итальянский банкир! С Робером Артуа он говорил фамильярным, развязным тоном.

– Однако ж я получил графство Бомон-ле-Роже, а оно даст пять тысяч ливров дохода, и замок Конш, где я живу, – отрезал великан.

– Не спорю, – согласился банкир. – И все-таки вы мне даже гроша не вернули. Напротив того...

– Никак не могу добиться, чтобы мне выплатили мои доходы. Казна мне должна за несколько лет...

– Львиную долю этого долга вы взяли у меня. Вам требовались деньги, чтобы чинить крыши замка Конш и тамошние конюшни...

– Они же сгорели, – заметил Робер.

– Пусть так. И потом, вам нужны деньги, чтобы поддерживать ваших сторонников в Артуа.

– А куда я без них гожусь? Ведь если я выиграю свой процесс, то только благодаря им, благодаря Фиенну и прочим. А если понадобится, прибегнем к оружию... И потом, скажите-ка мне, мессир...

Великан произнес последнюю фразу совсем иным тоном, словно ему прискучила роль мальчугана, которого журит добрый дядюшка. Захватив полу банкирского кафтана двумя пальцами, он начал тихонько тянуть ее вверх.

– Скажите-ка мне... Верно, вы оплатили расходы по моей тяжбе, оплатили мои конюшни и прочую дребедень, согласен, но разве благодаря мне вы не провели несколько славненьких операций, а? Кто вам сообщил, что тамплиеров собираются арестовать, кто посоветовал вам взять у них взаймы денег, которые вам, если не ошибаюсь, не пришлось возвращать? А кто предупредил вас об уменьшении доли золота в монете, благодаря чему вы вложили все ваше золото в товары и получили двойную прибыль? А ну, скажите, кто?

Верный старинной традиции, которую свято блюдет каждый уважающий себя банкирский дом, Толомеи имел своих осведомителей даже в Королевском совете, и главным из этих осведомителей был граф Артуа, друг и сотрапезник Карла Валуа, ничего не скрывавшего от своего родича.

Толомеи высвободил из длани Робера полу кафтана, аккуратно разгладил складки, улыбнулся и произнес, не открывая левого глаза:

– Я ведь признаю ваши заслуги, признаю. Подчас, ваша светлость, вы доставляли мне весьма полезные сведения. Но – увы!

– Что – увы?

– Увы! Те выгоды, которые я извлек благодаря вам, далеко не покрывают выданную вам сумму.

– Неужели правда?

– Истинная правда, ваша светлость, – ответил Толомеи с самым простодушным видом.

Он лгал и мог лгать безнаказанно, ибо Робер Артуа, столь ловкий в интригах, был не совсем в ладах с арифметикой и терялся при виде цифр.

– Эх! – досадливо произнес Робер.

Он задумчиво поскреб ногтями щеку, покрытую грубой, будто свиной, кожей, и медленно покачал головой.

– Кстати, о тамплиерах... вы, должно быть, порадовались нынче утром? – спросил он.

– И да и нет, ваша светлость, и да и нет. Уже много лет, как они перестали быть нашими конкурентами. А теперь за кого возьмутся? За нас, за ломбардцев, так по крайней мере говорят... Торговля золотом нелегкое ремесло. И однако, без нас все бы замерло... Кстати, – прервал себя Толомеи, – не сообщал ли вам его высочество Валуа, что курс парижского ливра в скором времени опять изменится? Такие слухи ходят.

– Нет, – рассеянно ответил Артуа, занятый своими мыслями. – Но на сей раз Маго в моих руках. Потому что в моих руках ее дочери и кузина. И я им сверну шею... Крак – и готово!

Несколько расплывчатые черты его лица, горевшего ненавистью, стали жестче, он казался сейчас почти красивым.

Он снова нагнулся к Толомеи. «Да этот одержимый, – думал банкир, – способен на любое... Так или иначе, дам ему займы еще пятьсот ливров... А ведь верно, от него здорово несет дичью...» Вслух он сказал:

– В чем, собственно, дело?

Робер Артуа понизил голос до шепота. Глаза его блестели.

– Наши крошки распутницы обзавелись любовниками, – начал он, – и сегодня ночью я узнал, кто они. Но – молчок, ни слова! Я не хочу, чтобы об этом знали... еще не пришло время.

Сиенец сидел в глубоком раздумье. Такие слухи уже доходили до него, но он им не верил.

– Но вам-то какая от этого польза? – спросил он Робера.

– Как какая? – воскликнул Артуа. – Вы представляете себе, какое получится позорище! Будущая королева Франции, застигнутая, как непотребная девка, вместе со своим голубком... Да тут дело пахнет скандалом, расторжением брака! Все бургундское семейство по уши сидит в грязи, тетушка Маго теряет при дворе весь свой кредит, наследство ускользает от казны; а я начинаю вновь свою тяжбу и блестяще ее выигрываю!

Робер ходил взад и вперед по комнате, и под его тяжелыми шагами дрожал пол, мебель, дрожало все.

– Значит, вы сами, – спросил Толомеи, – сообщите о позоре, павшем на королевскую семью? Сами пойдете к королю...

– Нет, мессир, нет, увольте, только не я. Меня никто и слушать не станет. Кто-нибудь другой... более подходящий для выполнения столь щекотливой миссии... Даже лучше, чтобы это шло не из Франции... Вот об этом я и хотел вас попросить во вторую очередь. Мне нужен верный человек, такой, чтобы он не был особенно на виду и чтобы он мог поехать в Англию и отвезти туда послание.

– Кому же это?

– Королеве Изабелле.

– Ах, так! – пробормотал банкир. Воцарилось молчание, только с улицы доносился шум да слышались крики лоточников, выхвалявших свой товар.

– Это верно, что королева Изабелла не особенно жалуется своих невесток, – проговорил наконец Толмеи, который с первых же слов посетителя понял, каким путем граф Артуа намерен довести свой заговор до конца. – Если не ошибаюсь, вы ее лучший друг и несколько дней назад посетили Англию?

– Я вернулся оттуда в прошлую пятницу и, как видите, времени зря не терял.

– Но почему бы вам самому не послать к королеве Изабелле гонца – конечно, человека надежного или кого-нибудь из свиты его высочества Валуа?

– Мои люди наперечет известны, да и люди его высочества тоже, не даром же в этой стране все следят друг за другом, сосед следит за соседом; поэтому-то дело может сорваться в самом начале. Вот я и решил, что купец – конечно, такой купец, которому можно довериться, – более подходит для подобной роли. Ведь много ваших людей разъезжают по делам... Впрочем, письмо будет самое невинное, так что передатчику беспокоиться нечего...

Толмеи пристально взглянул в глаза великана, в раздумье потупил голову и потом, вдруг решившись, взял бронзовый колокольчик и позвонил.

– Постараюсь еще раз оказать вам услугу, – сказал он.

Драпировки, скрывавшие стену, раздвинулись, и показался тот самый юноша, который провел окольным путем архиепископа Санского. Банкир представил его гостю:

– Гуччо Бальони, мой племянник, недавно приехал из Сиены. Не думаю, чтобы стражи и приставы нашего общего друга Мариньи успели его хорошо узнать... Правда, вчера утром... – добавил Толмеи вполголоса, с притворной суровостью глядя на юношу, – вчера он так отличился, что сам французский король удостоил его взглядом... Ну, каков, по вашему?

Робер Артуа окинул Гуччо внимательным взглядом.

– Хорошенький мальчик, – со смехом произнес он, – стан прямой, ноги стройные, талия тонкая, глаза как у трубадура, а взгляд с хитринкой... хорошенький мальчик. Это его вы собираетесь послать, мессир Толмеи?

– Он мое второе «я», – ответил банкир, – только похудее и помоложе. И вообразите, я сам был когда-то таким же, но – увы! – один лишь я остался тому свидетелем.

– Если король Эдуард заметит ненароком вашего посланца, боюсь, что мальчика нам больше не видеть.

И великан залился громким смехом, к которому присоединились дядя и племянник.

– Слушай, Гуччо, – сказал Толмеи, насмеявшись, – тебе представляется случай ознакомиться с Англией. Отправившись туда завтра на заре, по приезде в Лондон остановишься у нашего родича Альбицци, с его помощью проникнешь в Вестминстерский дворец и передашь королеве – только помни, в собственные ее руки – письмо, которое сейчас напишет его светлость. Потом я тебе подробнее расскажу, как надо действовать.

– Я предпочел бы продиктовать письмо, – отозвался Артуа, – мне сподручнее обращаться с рогатиной, чем с вашими чертовыми гусиными перьями.

«Да еще и недоверчив ко всем прочим своим качествам, – подумал Толмеи, – не хочет оставлять после себя следов». Но вслух произнес:

– К вашим услугам.

Гуччо написал под диктовку следующее послание:

«То, о чем мы догадывались, подтвердилось, и к тому же самым постыдным образом. Я знаю всех действующих лиц и так их прижал, что, если мы не мешкая примем меры, улизнуть им не удастся. Но одна лишь вы располагаете достаточной властью, дабы совершить то, что мы задумали, и ваш приезд мог бы положить конец той мерзости, что чернит честь ваших ближайших родственников. Мое единственное желание – верно служить вам телом и душой».

– А подпись, ваша светлость? – спросил Гуччо.

– Вот она, – ответил Артуа, протягивая юноше железный перстень. – Отвезешь его королеве Изабелле. Она поймет... Да уверен ли ты, что сможешь сразу же попасть к ней? – добавил он с сомнением в голосе.

– Да, ваша светлость, – ответил за племянника банкир Толомеи, – государи Англии кое-что слышали о нас. Когда король Эдуард приезжал сюда в прошлом году вместе с королевой Изабеллой, чтобы присутствовать на празднествах, где вы вместе с королевскими сыновьями были посвящены в рыцари, – так вот! – король английский занял у нас, ломбардских купцов, сумму в двадцать тысяч ливров, которую мы собрали промеж себя, и до сих пор не соизволил вернуть долг.

– Как, и он тоже? – воскликнул Артуа. – Кстати, банкир, как же по поводу... по поводу того, первого, вопроса?

– Что поделаешь! Не умею я, ваша светлость, вам отказывать, – вздохнул Толомеи.

Он взял мешочек с пятьюстами ливрами и протянул его Роберу.

– Припишем эту сумму к прежнему вашему счету, равно как и дорожные расходы вашего посланца.

– Ах, банкир, банкир, – воскликнул Артуа, широко улыбнувшись, отчего просветлело все его лицо, – ты верный друг. Когда я заполучу графство, я назначу тебя своим казначеем.

– Надеюсь на вашу милость, – ответил Толомеи, склонившись в поклоне.

– А не выйдет, так захвачу тебя с собой в ад. Там мне здорово будет не доставать тебя и всего прочего.

И великан, размахивая тяжелым мешочком, будто детским мячом, направился к выходу. В дверях он нагнулся, чтобы не удариться о притолоку.

– Вы опять дали ему денег, дядюшка! – сказал Гуччо, укоризненно покачав головой. – А ведь вы сами говорили...

– Гуччо, мой милый Гуччо, – нежно возразил банкир (сейчас он смотрел вокруг себя обоими широко открытыми глазами), – на всю жизнь запомни одно правило: тайны великих мира сего стоят тех денег, которыми мы их ссужаем. Не далее как нынче утром его высокопреосвященство Жан де Мариньи и его светлость Артуа оба дали мне долговые обязательства, которые дороже золота и которые мы сумеем в свое время пустить в оборот. Ну а золото... мы уж как-нибудь восполним убыток.

Он задумался, потом сказал:

– На обратном пути из Англии тебе придется сделать крюк. Поедешь через Нофль-ле-Вье.

– Слушаюсь, дядюшка, – ответил Гуччо без особого восторга.

– Нашему тамошнему доверенному не удалось получить от владельцев замка Крессэ сумму, которую они нам должны. Глава семейства недавно умер. А наследники отказываются платить. Впрочем, говорят, что у них ничего нет.

– Как же быть, если у них ничего нет?

– Ба! А стены замка, а земли, а родственники? Пусть перезаймут у кого-нибудь и рассчитаются с нами. В противном случае повидайся с местным прево, вели наложить арест на их имущество, добейся аукциона. Это тяжело, жестоко, сам знаю. Но банкир должен ожесточить свое сердце. Должен не щадить мелких клиентов, иначе он не сможет уступать крупным. Ведь тут не только вопрос денег. О чем ты думаешь, *figlio mio*⁴?

– Об Англии, дядюшка, – ответил Гуччо.

Поездка в Нофль казалась юноше довольно скучной повинностью, но он соглашался даже на нее: в мечтах он был уже в Англии, его влекло туда мальчишеское любопытство.

⁴ Сын (ит.).

В первый раз он поедет по морю... Нет, и впрямь ремесло ломбардского купца не лишено приятности и чревато самыми неожиданными сюрпризами. Ездить, путешествовать, вручать государям тайные послания...

Старик с глубокой нежностью глядел на своего племянника. Гуччо был единственной привязанностью этого лукавого и охладевшего сердца.

– Путешествие будет весьма интересное, и, признаться, я тебе даже завидую, – сказал он. – Мало кому в твоём возрасте выпадает счастье посмотреть чужие страны. Учись, суй повсюду свой нос, выведывай, высматривай, умей заставить говорить другого, а сам держи язык за зубами. Остерегайся того, кто подносит тебе чару; не давай девицам больше того, что они стоят, и смотри не забывай снимать шляпу перед крестным ходом. А если тебе повстречается на дороге король, веди себя так, чтобы мне не пришлось на сей раз посылать его величеству лошадь или слона.

– А правда ли, дядюшка, – с улыбкой спросил Гуччо, – что королева Изабелла так прекрасна, как говорят?

Глава II Путешествие в Лондон

Есть на свете немало людей, которые с детских лет мечтают о путешествиях и приключениях, чтобы не только в глазах посторонних, но и в своих собственных казаться героями. А когда жизнь сталкивает их с долгожданным приключением, ко-гда опасность близка, они думают с раскаянием: «Кой черт мне все это нужно, понесла же меня нелегкая!» То же самое испытывал и юный Гуччо. Самой страстной его мечтой было узнать море. Но теперь, очутившись на море, он отдал бы все, что угодно, лишь бы оказаться на суше.

Было равноденствие, и лишь немногие корабли решались сняться с якоря из-за сильных приливов и отливов. Спустив с одного плеча плащ, положив ладонь на рукоятку кинжала, Гуччо этаким фанфароном прошелся по набережным Кале, но найти судовладельца, который согласился бы выйти в открытое море, ему удалось не без труда. Отчалили они лишь к вечеру, и сразу же, как только корабль вышел из гавани, поднялась буря. Замурованный в какой-то чулан, расположенный в трюме возле основания грот-мачты («тут не так качает», – объяснил капитан), где прилечь можно было только на деревянную скамью, Гуччо провел самую скверную ночь в своей жизни.

Волны тяжело, как таран, били в борт корабля, и Гуччо казалось, что все вокруг него вот-вот опрокинется вверх тормашками. То и дело он скатывался наземь со своего импровизированного ложа и в поисках его долго плутал в полном мраке, натываясь на какие-то бревна, налетая на бухты канатов, отвердевших от соленой воды, больно ударялся об углы небрежно сложенных ящиков, которые с грохотом перекатывались по полу, пытался уцепиться за невидимые предметы, ускользавшие из рук. Он со страхом ждал, что вот-вот разобьется в щепы корпус судна. Когда свист бури затихал на мгновение, Гуччо слышал, как хлопали наверху паруса и как с грохотом обрушивалась на палубу стена воды. В ужасе спрашивал он себя, уж не смыло ли весь экипаж и не остался ли он, Гуччо, один на борту этого судна без парусов и мачт, а оно, повинувшись воле волн, взносилось к небесам, чтобы тут же вновь рухнуть в бездну, и, казалось, нет и не будет конца этим взлетам и падениям.

«Сейчас я умру, – думал Гуччо. – Как глупо умирать в мои годы, и какой смертью – быть поглощенным морской пучиной! Никогда больше я не увижу дядюшку, никогда больше не увижу солнца. Почему, почему я не подождал в Кале два-три дня? Какая непростительная глупость! Если я уцелею, per la Madonna, милостью божьей матери, я поселюсь в Лондоне, буду водоносом, кем угодно буду, только в жизни не вступлю больше на борт корабля».

Наконец Гуччо удалось ухватиться за основание мачты; скорчившись, сжавшись в комок, дрожа всем телом в мокрой одежде, чувствуя неудержимые позывы к рвоте, он стал терпеливо ждать своей кончины и приносил обеты святой деве Марии делле Неви, святой деве Марии делла Скала, святой деве Марии деи Серви, святой деве Марии дель Кармине – другими словами, обещал сделать вклад во все сиенские храмы, которые он знал и помнил.

На рассвете буря утихла. Гуччо без сил огляделся вокруг: ящики, паруса, якоря, какие-то снасти – все это валялось в ужасающем беспорядке, а в брюхе судна, под плохо пригнанными планками пола, хлюпала вода.

Люк, ведущий на палубу, распахнулся, и чей-то грубый голос прокричал:

– Эй, сеньор? Ну как спалось?

– Спалось? – злобно переспросил Гуччо. – Сном смерти, что ли?

Ему спустили веревочную лестницу и помогли выбраться на палубу. Холодный порывистый ветер охватил его с головы до ног, и он снова задрожал от неприятного прикосновения намоченной одежды.

– Почему вы меня не предупредили, что будет буря? – спросил Гуччо владельца судна.

– Ваша правда, сеньор, ночка, как на грех, выдалась скверная, – ответил хозяин. – Но вспомните, как вы торопились. А потом, для нас, сами небось знаете, это дело привычное. Сейчас до берега уже рукой подать...

И хозяин, плотный старик с крошечными черными глазками, насмешливо взглянул на Гуччо.

Протянув руку куда-то вдаль, к беловатой полоске, выступавшей из тумана, старый моряк добавил:

– Вон он, Дувр.

Гуччо прерывисто вздохнул и плотнее закутался в плащ.

– Когда же мы приедем?

Старик пожал плечами:

– Часика через три-четыре, не позже, ветер с востока дует.

На палубе лежали вповалку трое матросов: их сморила усталость. Четвертый матрос стоял у руля и, грызя кусок солонины, не отрывал взгляда от носа корабля и от английского берега.

Гуччо присел возле старого моряка за низенькой деревянной перегородкой, которая все же защищала от ветра, и, несмотря на дневной свет, ветер и зыбь, заснул мертвым сном.

Когда он проснулся, перед ним был Дуврский порт с прямоугольником своих доков и строем низеньких, грубо сколоченных домишек, на крышах которых, чтобы их не унесло ветром, лежали камни. Справа по фарватеру стоял на отлете дом шерифа, охраняемый вооруженными стражниками. На пристани под навесами были навалены груды различных товаров, беспрерывно сновала шумная толпа. Ветер доносил запахи рыбы, смолы и гниющего дерева. Рыбаки тащили сети или, взвалив на плечо тяжелые весла, пробирались сквозь толпу. Даже ребятишки не сидели без дела, они волочили по мостовой огромные мешки, в несколько раз превосходящие их своими размерами.

Судно, опустив паруса, вошло в док на веслах. Молодости свойственно быстро обретать вновь не только свои силы, но и свои иллюзии. Преодоленная опасность лишь укрепляет ее веру в себя, толкает на поиски новых приключений. Так и Гуччо, поспав всего два-три часа, окончательно забыл все ночные страхи. Он готов был приписать себе победу, одержанную нынче ночью над морской стихией; в неудачном начале путешествия он видел теперь чуть ли не счастливое предзнаменование и доказательство тонкого своего чутья, помогшего ему в выборе столь искусных мореходов. Стоя на палубе в позе завоевателя, ухватившись рукой за какую-то снасть, он с жадным любопытством смотрел, как приближаются к нему владения Изабеллы.

Послание Робера Артуа, зашитое на груди камзола, железный перстень на указательном пальце – все это казалось Гуччо залогом славного будущего. Он станет свидетелем скрытой от всех жизни сильных мира сего, своими глазами увидит королей и королев, проникнет в наисекретнейшие дела монархов. В опьянении мечты, которая намного опережает будничные ход времени, он уже видел себя блестящим послом, поверенным всемогущих государей, взирающим свысока на раболепствующую перед ним знать... Без него не состоится ни один государственный совет... Ведь показали же блистательный пример всем прочим смертным, сделав головокружительную карьеру, два его соотечественника, два брата, два знаменитых тосканских банкира: Биччо и Мушато Гуарди, которых французы запросто величали «Бич» и «Муш» и которые в течение чуть ли не одиннадцати лет были казначеями, послами, близкими людьми сурового короля Филиппа! А он добьется большего, и о прославленном Гуччо Бальони будут рассказывать, как удивительную свою карьеру он начал с того, что чуть не сбил с ног на углу парижской улицы самого короля Франции...

В гомоне, наполнявшем порт, ему слышались приветственные клики. Старый моряк перекинул доску с борта корабля на пристань. Гуччо заплатил причитающуюся с него сумму за проезд и покинул море ради суши; но ноги его, уже успевшие привыкнуть к мерному баюканью зыби, невольно подгибались, он скользил, чуть не падал на мокрой земле.

Поскольку товаров при Гуччо не имелось, он не обязан был проходить через «досмотрщиков», то есть через таможню. Первому же мальчишке, предложившему поднести вещи, Гуччо приказал проводить себя к здешнему ломбардцу. В ту пору итальянские банкиры и купцы располагали собственной организацией, через которую шли все почтовые и транспортные операции. Объединившись в крупные компании, носящие имя своего основателя, они имели во всех главных городах и почти в каждом порту свои конторы; эти конторы походили на филиалы современных банков, но в отличие от последних при тогдашних банкирских конторах имелись частные почтовые отделения и нечто вроде теперешнего бюро путешествий.

Поверенный дуврской конторы принадлежал к компании Альбицци. Он был счастлив принять племянника главы компании Толмеи и с почетом встретил гостя. Гуччо первым делом помылся, платье его высушили и отгладили; имеющиеся при нем золотые французские монеты обменяли на английские деньги и, пока он сидел за сытным обедом, ему оседлали коня.

За столом Гуччо рассказал о пережитой им буре, причем по его словам выходило, что он вел себя настоящим героем.

Накануне в Дувр прибыл еще один путешественник, посланец компании Барди, некто Боккаччо. Четыре дня назад он присутствовал при казни Жака де Молэ; своими ушами слышал он проклятия Великого магистра и описывал трагическое зрелище с неумолимой и мрачной иронией, восхитившей его итальянских сотрапезников. Боккаччо было лет тридцать – Гуччо он казался чуть ли не стариком, – на его тонкогубом, живом и умном лице блестели темные глаза, с любопытством взиравшие на свет божий. Так как он тоже направлялся в Лондон, Гуччо решил ехать с ним вместе.

Выбрались они после полудня в сопровождении слуги.

Памятуя наставления дядюшки, Гуччо помалкивал и старался навести на разговор своего спутника, который только и ждал случая порассказать о себе. Немало повидал на своем веку синьор Боккаччо. Немало стран посетил он – был в Сицилии, Венеции, Испании, Фландрии, Германии, был даже на Востоке и выходил здоров и невредим из самых опасных приключений; он изучил нравы каждой страны, смело судил о религии, даже позволял себе сравнивать меж собой те или иные верования, презрительно отзывался о монахах и с ненавистью об инквизиции. По всему видно было, что синьор Боккаччо большой любитель прекрасного пола; из его намеков явствовало, что покорила он немало красавиц, име-

нитых и вовсе неизвестных, и знал о них множество презабавных историй. Синьор Боккаччо не особенно высоко ставил женскую добродетель, и его соленые словечки нарушили покой юного Гуччо. Вместе с тем чувствовалось, что его новый знакомый не только хитрец, но и весьма отважный мужчина. Ох и вольнодумец же этот синьор Боккаччо, однако человек незаурядный!

– Будь у меня время, я бы охотно записал все эти истории и мысли, внес бы в житницу богатый урожай, собранный во время моих странствований, – заявил он Гуччо.

– За чем же дело стало, синьор? – осведомился Гуччо.

Синьор Боккаччо вздохнул в ответ, как вздыхает человек по своей мечте, которой, увы, не суждено осуществиться.

– *Torpo tardi*, слишком поздно, – сказал он, – поздно в мои годы превращаться в писца. Когда ты с юности избрал себе иное ремесло – зарабатывать деньги, – то после тридцати лет ничего другого уже делать не можешь. И к тому же напиши я все то, что знаю и слышал, да меня бы на костре сожгли!

Эта поездка бок о бок со столь занимательным спутником через прекрасные зеленеющие поля наполнила душу Гуччо восторгом. С наслаждением вдыхал он свежий воздух, пронизанный дыханием ранней весны; цоканье подков вторило их разговорам, как песнь безоблачного счастья, и восторженному Гуччо чудилось, что он сам участник всех этих изумительных происшествий, о которых рассказывал синьор Боккаччо.

К вечеру они добрались до харчевни. Ничто так не располагает к душевным излияниям, как привалы в пути. Путники попивали перед камельком из небольших кувшинов добрый английский эль – крепкое пиво, сдобренное имбирем, стручковым перцем и гвоздикой, – и, пока им стелили постель, синьор Боккаччо поведал Гуччо, что была у него любовница, француженка, и в минувшем году родила ему ребенка, сына, получившего при крещении имя Джованни.

– Говорят, что внебрачные дети наделены резвым нравом и крепче детей, рожденных в супружестве, – поучительно заметил Гуччо, у которого имелось про запас десяток избитых сентенций для оживления беседы.

– Без сомнения, господь бог одаряет их светлым умом и крепким телом, дабы вознаградить за потерю наследства и уважения общества. А может, просто им приходится сурово бороться за жизнь и прокладывать себе путь самим, ни на кого не рассчитывая, – ответил синьор Боккаччо.

– Ну, ваш-то, во всяком случае, будет иметь отца, который многому может его научить.

– Если только он простит отца за то, что тот произвел его на свет при столь незавидных обстоятельствах, – пожав плечами, ответил собеседник молодого ломбардца.

Для ночлега им отвели одну комнату и одно на двоих убогое ложе. В пять часов утра они снова пустились в путь. Космы тумана еще жались к земле. Синьор Боккаччо молчал – в таких людей рассвет не вселяет бодрости.

Погода выдалась свежая, и небо быстро очистилось. Они проезжали через деревушку, которая восхитила Гуччо своей какой-то особой миловидностью. Деревья стояли еще голые, но в воздухе чувствовался аромат весенних соков, пришедших в брожение, зеленая молоденькая травка уже пробивалась из земли. По стенам низких белых домиков карабкался плющ, плющ карабкался и по башенкам замков, похожих друг на друга как две капли воды. Живые изгороди во всех направлениях пересекали поля и холмы. Волнистая линия горизонта, опушенная полоской леса, лазорево-зеленый блеск Темзы, бежавшей под обрывистым берегом, группа охотников, которые возвращались домой со сворами гончих, – все это приводило Гуччо в восторг. «Что за прекрасные владения у королевы Изабеллы», – твердил он про себя.

Чем больше лье оставлял за собой Гуччо, тем сильнее овладевала его воображением королева, пред которой он вскоре должен был предстать. Почему бы, пользуясь данным ему поручением, не попробовать понравиться Изабелле? Быть может, расположение Изабеллы поможет ему свершить те высокие замыслы, для коих, несомненно, был он рожден. Разве мало еще более удивительных примеров из жизни государей и государств дает нам история? «Пусть она королева, – думал Гуччо, – но ведь она женщина, ей всего двадцать два года, и супруг ее не любит. Английские синьоры не смеют за ней ухаживать – боятся прогневить короля. А я приезжий, я тайный посланец; чтобы добраться сюда, я пренебрег бурей: я преклоню перед ней колена, сниму шляпу, опишу ей широкий полукруг, облобызаю подол королевского платья».

И он уже оттачивал фразу, в которой отдавал на служение молодой златокудрой королеве свое сердце, всю свою изворотливость и верную свою руку... «Мадам, увы, я не принадлежу к знати, но я вольный гражданин города Сиены, и я стою любого дворянина. Мне восемнадцать лет, и самая заветная мечта моя – созерцать вашу несравненную красоту, принести вам в дар душу мою и мою кровь до последней капли...»

– Уже недалеко, – прервал его мечты голос синьора Боккаччо.

И действительно, Гуччо не заметил, как они достигли предместий Лондона. Дома сплошной линией выстроились вдоль дороги; чудесные лесные ароматы исчезли; в воздухе запахло горелым торфом.

Гуччо удивленно оглядывался вокруг. Дядя Толомеи наговорил ему чудес, сулил, что племянник увидит необыкновенный город, а племянник видел только деревни, деревни, деревни, бесконечные ряды хижин с почерневшими стенами, грязные улочки, по которым шагали тощие женщины с тяжелой ношей за плечами, бегали оборванные ребятишки и шли угрюмые солдаты.

Внезапно вместе с толпой, вереницей лошадей и повозок наших путников вынесло на лондонский мост. Две четырехугольные башни стояли на страже английской столицы – вечерами между ними натягивали цепи и замыкали на запор огромные ворота. Первое, что бросилось в глаза Гуччо, была окровавленная человеческая голова, надетая на одну из пик, торчавших над воротами. Воронье кружилось вокруг этой мертвой головы с выклеванными глазами.

– Нынче утром английский король вершил свое правосудие, – пояснил синьор Боккаччо. – Так кончают здесь свою жизнь преступники или те, которых объявляют преступниками с целью избавиться от них.

– Странная вывеска, особенно на воротах, через которые въезжают чужестранцы, – заметил Гуччо.

– Пусть знают, что в этом городе не в ходу комплименты и ласки.

Мост, по которому они ехали, был в те времена единственным мостом через Темзу; скорее это была настоящая улица, возведенная над рекой, и в деревянных домиках, стеной стоявших на мосту, процветала торговля самыми разнообразными товарами.

Двадцать арок, каждая в шестьдесят футов вышиной, поддерживали это удивительное сооружение. Строили его целых сто лет, и лондонцы весьма гордились этим обстоятельством.

Мутная вода бурлила у мостовых устоев, на окнах домиков сохло белье, женщины выливали помой прямо в реку.

«По сравнению с лондонским мостом флорентийский Понте Веккьо просто игрушечный, и Арно по сравнению с Темзой просто ручеек», – подумалось Гуччо. Он сообщил свои соображения синьору Боккаччо.

– Однако ж они наши ученики, – ответил тот.

Переезд через мост занял не меньше двадцати минут, путники с трудом пробивались сквозь густую толпу, а тут еще назойливые нищие висли на стремянах.

На том берегу реки Гуччо увидел башню, зловещий силуэт которой вырисовывался на фоне серого неба; вслед за синьором Боккаччо он повернул в Сити. Шум и оживление, царившие на улицах, этот непривычный уху говор, свинцовое, низко нависшее небо, удушливый запах горелого торфа, окутавший весь город, крики, доносящиеся из таверн, настойчивые заигрывания непотребных девок, грубые повадки горластых солдат – все это возбуждало любопытство Гуччо, но в то же время навевало на него уныние. Внезапно в его воображении возник Париж, и какой же сияющей, светлой показалась ему столица Франции по сравнению с Лондоном, темным даже в полдень.

Проехав шагов триста, путники свернули налево, на Ломбард-стрит, где размалеванные железные вывески извещали, что тут нашли себе пристанище итальянские банкиры. Невзрачные с виду домики в один, редко в два этажа, но чистенькие, с навощенными дверями и с решетками на окнах. Перед помещением банка Альбицци синьор Боккаччо оставил Гуччо. Дорожные спутники горячо распрощались, оба выражали живейшее удовольствие по поводу завязавшейся между ними дружбы и обещали встретиться как можно скорее в Париже. Сколько таких обещаний дается в дороге, и как редко они выполняются по приезде...

Глава III

В Вестминстере

Мессир Альбицци был мужчина высокого роста, сухощавый, с длинным смуглым лицом, с черными широкими бровями, из-под маленькой шапочки выбивались на лоб густые темные кудри. Гуччо он принял ласково, приветливо, но без всякой суеты, как и подобает важной особе. Говоря о своем «доме», он пренебрежительно махал рукой, как бы ни во что не ставя богатство, которое выступало буквально из каждого угла его жилища. Сидя у стола, высокий худой Альбицци, в узком камзоле из темно-синего бархата с серебряными пуговицами, походил на тосканского принца.

Пока шел обмен традиционными приветствиями, гость разглядывал высокие дубовые сиденья, обитые камкой, табуреты из ценных пород дерева с инкрустациями из слоновой кости, богатейшие ковры, устилавшие весь пол, массивный камин с тяжелыми серебряными подсвечниками. Юноша не мог устоять против искушения и быстро делал в уме подсчеты: «Ковры... шестьдесят ливров за штуку, никак не меньше... подсвечники – сто двадцать... Если остальные комнаты не уступают этой – весь дом стоит в три раза дороже, чем дядин». Ибо, хотя Гуччо мечтал о карьере тайного посланника и верного рыцаря королевы, он был купец, купеческий сын, купеческий внук и купеческий правнук.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.